
THE
Man
BOOKER
PRIZE
2002
Anita Brookner
The Next Big Thin
Анита Брукнер · Очередное важное дело

Очередное важное дело
Анита Брукнер

Аннотация
Анита Брукнер. Очередное важное дело
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аннотация

Юлиус Герц, семидесяти трех лет, живет замкнуто и одиноко в маленькой лондонской квартире, заполняя дневные часы чтением газет и прогулками по городу. Всю жизнь он старался думать прежде всего о других, а теперь, оставшись один, чувствует, что стал «изгнанником из реальной жизни». Может, любовь поможет ему начать все сначала? Но с красавицей Фанни они не виделись тридцать лет…

Анита Брукнер (р. 1928) известна нашему читателю по роману «Отель „У озера“», который получил Букеровскую премию в 1984 году и стал бестселлером в Англии, а затем и в России. Роман «Очередное важное дело» был номинирован на премию Букера в 2002 году.

Анита Брукнер
Очередное важное дело

1

Герцу приснился сон, от которого он, проснувшись еще задолго до рассвета, пришел в волнение и трепет. Ему снилось, что позвонила его кузина, Фанни Бауэр, любовь всей его жизни. «Ты ведешь меня в кино», — объявила она. Как всегда послушный ее желаниям, он одним движением плеч надел пальто и через мгновение, как это обычно бывает в подобных снах, оказался совсем в другом месте. День будний, но кинотеатр так переполнен, что им приходится стоять у стенки в конце зала. Фанни такая, какой он знал ее всегда и какой до сих пор помнит: вздорная — вздорность избалованной красавицы, — требовательная и привередливая. Едва начинается фильм, она хватает Герца за руку и заявляет, что ей нехорошо. И вновь безо всякого перехода они оказываются в просторном кафетерии при кинотеатре. Фанни вроде бы уже лучше, но вид у нее необычно растрепанный, на плечах — большое пальто из верблюжьей шерсти. Герц не забывает удерживать приветливую улыбку, но отчего-то приходит в смятение. Это чувство

каким-то образом связано с пальто, в котором он узнает свое пальто, которое должно быть на нем. Он не помнит, чтобы предлагал его ей. Пальто и ее недомогание почему-то прочно сплетаются в его сознании. Но только когда он понимает, что на самом деле именно он причина ее недовольства, сон достигает своей кульминации. С замиранием сердца, с улыбкой он предлагает ей остатки своих сил и здоровья, а она, не проявив и малейшей признательности, небрежно забирает их у него, сама того даже не замечая. Все это было до того похоже на их отношения в жизни, что, во всяком случае, спросонок его сознание принимает их встречу за явь. Опомнившись, он замечает, что улыбается — улыбкой готовности, непротивления — темному углу своей спальни. Только неумолимое тиканье часов говорит о том, что он уже проснулся, что скоро настанет новый день, так похожий на все остальные, на обычные дни его теперешнего существования, в котором ничего не происходит и ничего не ожидается.

Он не видел ее тридцать лет. Во сне они оба были молоды, и Фанни еще не замужем, то есть еще до Ниона, еще до Меллерио, еще до того, как семья Герца приехала в Англию. Но страсть рождала ощущение, что она рядом; он думал о ней

так часто и так много, что казалось, расстояние их не разделяет. Эта страсть распространялась и на ее родителей, которые нравились ему больше его собственных. Он знал, что социально его родители были ниже, хотя нравственно, пожалуй, что и выше. Его мать так и не простила сестре, что та вышла замуж за человека не их круга, хотя сама не была такой уж блюстительницей общественных норм. Его отец, человек скромный, всегда подчинялся свояку и всегда чувствовал себя неловко в его присутствии. Тем не менее именно этот свояк, Губертус, обеспечил им безопасный отъезд из Берлина. Их дом как раз из таких шикарных вилл, которые Губертус был мастер создавать, обладал всей прелестью более беззаботного местечка — отеля, например, или санатория. Это впечатление усиливалось еще и оттого, что Анна, его тетя, казалось, всегда ожидала гостей. Они играли в бридж, пили коктейли, однако даже и в юном возрасте Герц догадывался, что это просто дань моде и своего рода игра. Он в то время не понимал, что их очень тревожит судьба их пылкой темноглазой дочери, чьи взгляды были небезопасны в тогдашней Германии. Его собственные родители тоже тревожились — болезненно тревожились, — но не за себя и не за

улыбчивого Юлиуса, а за старшего сына, Фредди, их гениального музыканта. На этой почве обе семьи сразу же сблизились; телефонных разговоров стало больше, чем раньше, — а прежде звонили от случая к случаю. Губертус остается, тут не было никаких сомнений. Но его жене и дочери разумнее переехать куда-нибудь от греха подальше. Отец Герца, служивший в фирме, выпускающей музыкальные инструменты, всецело полагается на своих коллег и на директора фирмы, которому он присягнул на верность. Ведь нельзя же такую преданность не заметить, а в случае необходимости и не защитить? Его мать, которая боится всего на свете, только и мечтает, как бы избежать тех многочисленных трудностей, которыми осыпала ее жизнь. Именно она, а не ее муж, возложила на Губертуса все, что осталось от ее надежд: он, а не ее излишне скромный супруг, придумает, что делать.

Мальчиком Юлиус является к чайному столику своей тети; улыбка компенсирует отсутствие приглашения (он бы не стал придавать этому значения, но, возможно, они придают). Его приветствуют какой-то фразой, в которой он так много мог уловить как своего, но, правда, с нотками нетерпения. Вы с Фанни разминулись всего На

минуту, говорят ему, она пошла играть в теннис с друзьями, с кем-то из ее «команды», но ведь ты побудешь немного, выпьешь чашку чая? — спрашивает его тетя, приподняв подведенную бровь. Бессмысленно дожидаться Фанни, когда она проводит вечер с друзьями. Может, мы ее заменим? Это чисто формальный вопрос, для нее это обычное дело. Он будет застенчиво сидеть в гостиной, где сплошь хром и стекло, где дерево — светлое, а занавески — ослепительно белые, и этот неуют предпочитать родительской квартире, такой темной и невзрачной, обставленной еще его бабушкой и дедом, которые держали в ежовых рукавицах свою почтительную дочь и мягкотелого зятя; Анна, непочтительная дочь, удрала от них без оглядки. Ее брак с протестантом сочли столь ужасным проступком, что прощения ей не было, несмотря на то, что Губертус был славным человеком и разумная доля его дохода обеспечивала безбедную старость деспотичных стариков, не переставших его поносить. Вероятно, соглашаться с ними в этом вопросе приходилось просто потому, что иначе было не прожить. Как бы там ни было, связанные с этим моральные неудобства придавали Анне и Губертусу флер просвещенной четы, каковой, возможно, они и

были в действительности, а их дом превращали в приют всего передового, чего Юлиус так жаждет. Даже если Фанни не оказывается дома — а она так редко там оказывается, — он ощущает ее присутствие, представляет себе, как она берет теннисную ракетку, он мысленно следует за ней, проникаясь ее настроением, когда она выходит на яркое полуденное солнце. Образ настолько привлекателен, что свой незапланированный визит он считает удачным и уносит домой впечатления, которые пополнят его скудную казну, и уже мечтает о другом подобном вечере, когда она обязательно будет дома и обрадуется его приходу.

Фанни Бауэр! Во сне она была по-прежнему молодой, красивой, она могла разбить сердце любому, и ее надменность была неотъемлемой частью ее шарма. Во сне его собственный возраст определить было трудно, но он узнал ту улыбку, которая на самом деле никогда его не покидала. Когда он наконец смирился с тем, что дни похожи один на другой, то осознал, ясно, без тени сомнения, что он — семидесятитрехлетний «пенсионер», как называют стариков, которым нечем занять себя, а Фанни на целый год его старше. На самом деле, когда он в последний раз ее

видел в Нионе, в отеле «Бо Риваж», она уже была не такой. Он разыскал ее после своего развода, чтобы просить ее стать его женой. Пред ним предстала степенная полная женщина, которая не обладала даже тем шиком, который был присущ ее матери.

— Юлиус! — воскликнула она. — Каким ветром тебя сюда занесло?

И он изложил ей свою просьбу, чересчур поспешно для такого рода дел, без должной подготовки и не в той обстановке, и жестом все еще красивой руки она была отклонена. Он не сказал Фанни, что проследил ее жизнь путем необязательного детективного расследования, ибо что там было расследовать? Он знал уже, что Фанни и ее мать, благодаря дальновидности Губертуса, переехали в Швейцарию, в самый мирный и нейтральный из приозерных городков — до тех пор, пока не улучшилась обстановка. Он знал, что не менее дальновидная тетушка Анна подыскала своей дочери мужа — архитектора по фамилии Меллерио, который взял их обеих на службу и поселил в своей уродливой вилле, из которой они удирали, как только выдавалась такая возможность, пить чай с пирожными в английской чайной или сидеть на террасе «Бо Риваж», куда

они самым естественным образом переместились после смерти Меллерио, разбившегося во время инспекции какой-то своей стройки. После продажи его дома и бизнеса они остались неплохо обеспеченными; отель их устраивал, точнее сказать, их устраивала гостиничная жизнь, подходящая людям, лишившимся своих корней, для которых все лишь временно. Они были в безопасности, более чем по тому времени, однако на самом деле никогда не были у себя дома, потому что дом более не существовал, стертый с лица земли бомбами союзников, и Губертуса, который придумывал, что всем им делать, больше не было в живых.

Фанни невозмутимо отклонила его предложение: не обижая Герца, она просто дала понять, что ей хорошо и так. Из ее слов не явствовало, что у нее есть любовник, так же как нельзя было подозревать ее в случайных связях. Она жила в тишине и покое: играла с приятельницами в бридж, ухаживала за матерью, с которой они жили в многокомнатном номере, по-прежнему захаживала в английскую чайную или сидела на террасе, прежде чем уйти к себе, чтобы заняться своей внешностью и возвестить тем самым конец дня. Она была теперь почти швейцаркой, как

он сам был почти англичанином, но их детство оставило свой след. Именно поэтому он был так рад, что часть их существа осталась неизменной. Глядя правде в глаза, он понимал, что она никогда бы не сменяла Нион на Лондон. Он принял отставку, отобедал вместе с Фанни и ее матерью за их обычным столиком и на следующий день отбыл домой. Ни для кого из них в этом визите не было ничего необычного. Он вернулся домой, в пустую квартиру, пообещав держать с ними связь. И выполнял обещание, но писал редко, будучи не в силах соотнести полную, неторопливую женщину, какой стала Фанни в зрелом возрасте, с нею же, темноволосой и темноглазой, какой помнил ее в юности. Вот почему он был более чем счастлив встретить ее во сне, в сохранности, без изменений. Даже во сне он ею не обладал; пусть нетронутая, невинная — он хотел, чтоб было так, или просто сознавал, что так установлено и быть по сему. В душе он до сих пор оставался юношей, даже мальчиком, для которого взрослость явилась неожиданностью и никогда не переставала его тяготить.

Оглядываясь назад, даже тот приезд в Нион — свой единственный приезд — он считал не лишенным определенного шарма. Это касалось

не оказанного ему приема, а предпринятого им шага. Ведь он был тогда еще сравнительно молод и способен принимать решения или, может быть, верил в удачу больше, чем обычно позволял себе верить. Несмотря на отказ Фанни, у него осталось ощущение авантюры, поступка, продиктованного импульсом, а это в его глазах было сродни героизму. Для них обоих этот отказ был окончательным. Он понимал, что больше никогда ее не увидит. Он писал ей, сообщая семейные новости, какие были, но она отвечала скупо. Наконец пришло письмо, где говорилось, что мать ее нездорова и что сама она выходит замуж — два логически связанных факта. Ее новый муж был немецкий бизнесмен; они познакомились в отеле, где он останавливался на отдыхе, и, как того следовало ожидать, она вместе с ним уезжает в Германию, в Бонн. У нее, судя по всему, не было никаких терзаний по поводу этого возвращения. Она была уверена в своей защищенности, все же остальное ее не волновало. Но такого уж свойства был ее шарм — полнейший эгоизм. И за этот же эгоизм ей приходилось расплачиваться. Она уже не была юной красавицей, которая льет слезы для того, чтобы ее желаниям пошли навстречу. Он не винил ее. Послал ей поздравительное письмо,

и на этом переписка оборвалась. Он не знал ее нового адреса, отказался от нее символически, равно как и эмоционально. Он больше ничего о ней не знал: как ей живется, да и, собственно, жива ли она еще. Год спустя после ее последнего письма он послал для чего-то открытку по старому адресу, в «Бо Риваж». Ответом было молчание, как он и предполагал.

Возвращаясь мысленно к сегодняшнему сну, детали коего он все так же ясно видел мысленным взором, он задумался о том, что все было поправимо — а может, ему так только казалось. Ему часто снились родители, но во сне он не воспринимал их с тем усталым нетерпением, как в жизни, и мог с полным правом считать, что он худо-бедно их пережил. В этих снах он вновь становился нежным, любящим мальчиком, способным сносить постоянные жалобы матери, покорность отца, узурпаторскую надменность Фредди, с неизменной приветливой плакатной улыбкой он пытался облегчить всем жизнь. Какую гигантскую часть своей жизни он убил на эту попытку! Облегчать жизнь ему, казалось, было на роду написано, особенно облегчать жизнь Фредди, для которого он сделался едва ли не опекуном, хоть и был младшим братом. Как он восхищался Фредди

и его скрипичными подвигами! Как ненавидел их задним числом! Сколько он помнил, Фредди всегда почитали за гения, главным образом родители, но он и вправду играл невероятно легко и его нетрудно было уговорить выступить. Его юный возраст и поэтическая внешность легко производили впечатление на агентов и устроителей концертов, и вскоре ангажементы Фредди стали приоритетом в их маленьком семейном кругу. Играл он хорошо — однако, ограничиваясь несложными популярными произведениями (Сарасате, Сен-Санса), снискал известность лишь как новое имя, юное дарование, чьи способности могут развиться, а могут и не развиться. Впрочем, подвели его не способности, а скорее темперамент. Он не был создан для концертной сцены, которую ему прочили родители, и заработал нервное расстройство, дрожание в правой руке, а когда его будущее лопнуло, как мыльный пузырь, внушил себе полную недееспособность, которая со временем стала неотвратимой. Все это усугубилось после переезда из Берлина в Лондон, где их отец нашел работу в музыкальном магазине; посещения больницы или пансиона отнимали все свободное время, время, которое Юлиус мог бы потратить на учебу. Но со сменой

языка и учебного заведения с учебой у него так и не заладилось, и уж во всяком случае она не была приоритетом. Приоритетом был Фредди. Удивительно, почему Юлиусу никогда не приходило в голову это оспорить.

Все уже прошло, все закончилось, и он выжил. Выбираясь из кровати, Герц подумал, что и у этой медали тоже две стороны. Выжить — означает сдать времени ту свою некогда юную сущность, а время дает суровые уроки. Только те мгновения, которые удалось уберечь от времени, согревали душу, но никому не дано их выбирать. Тем не менее сон на мгновение вернул ему его самого в юности. Каким он был быстрым, каким чистосердечным! Он уже не помнил, как тогда выглядел, но знал, что обладал приветливой улыбкой уверенности, померкшей ныне с годами и опытом. Не осталось тех, кого можно было бы одарить ею, и все же временами она по-прежнему устремлялась вперед него, словно анонс его будущего взаимодействия с чем бы то ни было. Он знал, что он один, что он должен вытащить себя из постели и налить себе чашку чая, чтобы подготовиться к очередному тоскливому дню. Этот умиротворяющий ритуал не приносил никакой награды, частенько сопровождался вздохом и,

хуже того, был назначен к пожизненному исполнению. Герц, хотя и был платежеспособен и, насколько это возможно в его возрасте, здоров, понимал, что его перемещения во времени и пространстве скоро закончатся, что он останется в своем маленьком доме, который он себе создал, до тех пор, пока не угаснет вдали, как он надеялся, от равнодушных глаз. Уже не тот, что прежде, но не сказать, чтобы заметно ослабевший, он по-прежнему мог убедить любого, кого это могло заинтересовать, что еще вполне жизнеспособен. Сторонний наблюдатель сказал бы, что он неплохо сохранился для пережитка. Но сердце его по-прежнему терзала боль за те зрелые годы, что прошли в заботе, годы имени родителей и Фредди. Их смерть не закалила его настолько, чтобы он был готов к собственной. Даже в самые настоящие выходные его не покидало чувство скорби, поскольку он знал, что обязательно вернется в самое средоточие скорби: к скорби своих убитых горем родителей, к скорби свиданий с Фредди — сначала в больнице, потом в частной лечебнице и наконец в том продуваемом всеми ветрами квакерском особняке, наполовину отеле, наполовину реабилитационном центре, — где он, точнее, оба они, томились до самой смерти

Фредди. Ему казалось, что воспоминания об этих визитах не оставят его и в могиле. И та и другая смерть были вызваны естественными причинами, и все же от каждой веяло ужасом. Не столько смерть их, сколько жизнь вызывала сожаление, да еще вся та тщетная любовь, которая не смогла скрасить их кончину.

Даже в этом возрасте он до сих пор чувствовал боль детских ран, вечную тревогу, ставшую синонимом семьи, забота о которой лежала на нем. Ибо он был единственной жизнеспособной единицей этого маленького отряда — разобщенного, разнородного, некрепкого. Жизнь его отца состояла из сплошных навязанных ему обязательств, первейшим из которых было успокаивать свою разочарованную жену. Он уходил исполнять свои скромные обязанности продавца с облегчением человека, выпущенного из тюрьмы, а Юлиус оставался на хозяйстве, сильно упростившемся, пока новая вакансия в магазине не предложила Юлиусу такой же передышки от домашней скорби. В конечном итоге магазин стал его собственностью, когда прежний владелец, Островский, немец, вопреки своей фамилии, отправился на покой в южную Испанию. Островский был его первым и единственным благодетелем, поддерживал

его, привел его в Чешский клуб, где встречались такие же, как он. Эмигранты, понял Герц со временем, образовывали подлинное сообщество. В то время он не оценил благородства чувств, с этим связанных; он зачитывался «Золотой сокровищницей» Палгрейва,[1] и эмигрантам не было места в его новой английской жизни.

Теперь, отправив самого себя на пенсию, он почти жалел, что больше не ходит в магазин, ведь тогда он мог бы занять свое место среди таких же служащих, шагая по утренним улицам. Вместо этого он купит газету, внимательно прочтет ее за завтраком, после чего снова выйдет в город — купить чего-нибудь на обед. Повар из него был никудышный; ничто не мешало ему питаться в городе, но он ощущал, что выделяется своим одиночеством, и предпочитал дома придумывать, куда отправиться потом и как провести остаток дня. Пожалуй, подойдет галерея, книжная лавочка в центре города. Это была напряженная, осторожно проживаемая жизнь. У него больше не лежала душа к путешествиям в одиночестве, чемоданы были сосланы в кладовку, в подвал. Он полюбил ночные часы, хотя спал плохо. Его роди-

[1] Примечания: 1

Популярная поэтическая антология, впервые изданная в 1861 г. Фрэнсисом Палгрейвом (1824–1897). *(Здесь и далее прим. ред.)*

тели имели обыкновение ложиться вскоре после ужина. К половине девятого их убогая квартирка умолкала. И вот теперь то молчание обрело эхо. Герц тоже рано ложился, познав отчаяние, которое побуждало к этому его родителей. В такие мгновения его привычная улыбка меркла, и так же, как это бывало много лет назад, сны были его единственной наградой, его единственным правом, полученным по рождению.

После ванны и бритья он почувствовал себя более уверенно, напомадился и надушился, что не сильно отразилось на его внешности, однако являлось неким джентльменским ритуалом, тоже своего рода фамильной чертой, оставшейся с лучших времен. В таком виде он уже мог осилить новый день; Герц дополнил ритуал чисткой пальто и ботинок и напоследок пригладил ладонью волосы. Его манила улица, иллюзия жизни, общения. В такие минуты он никому не завидовал, да он знал не так уж много людей, которым стоило бы завидовать. Одиночество воспитало в нем стоицизм, на помощь которого он надеялся. Герц похлопал по нагрудному карману, чтобы удостовериться, что таблетки на месте. Он не считал, что они чего-то стоят, но полагал, что в его возрасте все глотают таблетки. Да и молодой

человек, который сейчас его пользовал, глядел на него так доверчиво, словно его собственное здоровье зависело от того, будет Герц его слушаться или нет. На этот раз даже и дождя не было. Герц подумал, что можно позвонить бывшей жене и пригласить ее на обед. Хотя расстались они без сожаления, он по-прежнему с нетерпением ждал встречи с ней и считал, что она разделяет это чувство. Развелись они полюбовно. Герц воспринимал развод как еще одно хорошее дело, которое ему удалось. Так же думала и его бывшая. Это воспоминание доставило ему мрачное удовольствие. Но странно — горечи не было. Когда он думал о ней, что случалось нечасто, его посещала улыбка. Пообедаем, подумал он, потом сходим в кино, если она будет свободна. Обретя, таким образом, цель, он пошел покупать «Таймс».

2

Выйдя на пасмурную Чилтерн-стрит, Герц обнаружил, что нынче выдался день воспоминаний. Снов, которые он прибережет для будущих ночей. Он задумался, как всегда, о силе тех ранних впечатлений, которые оставляют законсервированными столько лиц. Он мог видеть так, словно они только что простились на автобусной остановке, подругу матери, Бижу Франк, которая по субботам приходила на чаепитие, когда он был в Брайтоне у Фредди, а отец в магазине. Они жили в то время на Хиллтоп-роуд, в квартире, которая для них была явно велика. Они поселились там, когда только приехали в Лондон; Губертус, у которого были обширные связи, снял ее для них через какого-то своего приятеля. Этот приятель оказался родственником Островского, владельца музыкального магазина, который их обоих взял на работу. Так что первое время по приезде они целиком зависели от немцев и от того, что за них решили в Берлине.

Это в значительной мере облегчало им переходный этап, но и удерживало от новых знакомств.

Так или иначе, но они чувствовали себя изгоями, постоянно ловили на себе неодобрительные взгляды прохожих. Соседи не думали идти на сближение. Их можно было понять: вероятно, они еще плохо представляли себе, что творится в Германии. Квартира была с регулируемой арендной платой, и это несколько заслоняло тот факт, что она была ультрафешенебельной, даже буржуйской. Когда плата перешагнула определенный порог, им пришлось съехать. Когда это произошло — надо было что-то решать, определяться с жильем, — Островский посоветовал им перебраться в квартирку над магазином на Эджвер-роуд. Эта квартирка была маленькой, даже тесной, зато она принадлежала Островскому, который принял на себя роль их крестного. Мать Герца подозревала, что Островскому просто понадобилась та квартира на Хиллтоп-роуд для другого какого-нибудь протеже, само собой, для женщины, но они были не в том положении, чтобы возражать. К тому же на Эджвер-роуд у его отца уже не было бы необходимости идти пешком на другой конец города, что служило для него единственным развлечением и формой отдыха. Но опять же никак нельзя было дать понять, что этот переезд совершается без особого

желания. Их семья зависела от милости чужих людей, пусть даже милость эта выражалась в том, что эти люди принимали за них решения.

Бижу Франк приходила к матери Герца на Хиллтоп-роуд в те ужасные послеполуденные субботние часы, когда он составлял компанию Фредди. Герц видел ее как наяву: маленькая трепетная фигурка в приличном черном пальто и невыразительной фетровой шляпке, затеняющей маленькое тревожное личико. Она тоже была знакомой из прежних времен, хотя успела прожить в Англии некоторое время, выйдя замуж за престарелого англичанина, чья нелепая любовь ограждала ее от того круга, по которому она так тосковала. Оставшись хорошо обеспеченной вдовой, она оказалась буквально оторванной от нормального общения и была поистине счастлива, когда случайно встретила в местной булочной Труду Герц, и та быстро согласилась возобновить существовавшие некогда приятельские отношения. Бижу Франк наконец-то обрела наперсницу после томительных лет прислуживания мужчине, которого не она себе выбрала. Это он ее выбрал, объяснила она своей новоприобретенной подруге, и просто не спускал с нее глаз. Теперь она освободилась от него, но не освободилась от

его влияния, а осталась все такой же нервной и осмотрительной, словно он по-прежнему следил за каждым ее движением. Хотя во всех прочих смыслах она была вполне дееспособна, ее пугали самые обычные вещи, и в сопровождении Юлиуса ей было спокойнее потихоньку идти к остановке и дожидаться автобуса. Ему никогда не удавалось отвертеться от этой обязанности; при любых обстоятельствах мать заставляла его ее провожать. Поэтому даже в светлые летние вечера, когда его ровесники отправляются веселиться, он был приговорен к маленькой ручке Бижу, ее медленным шажкам и сокрушенному бормотанию о том, как ее тревожит здоровье его матери (и в самом деле слабенькое) и как угнетает ее их плачевное положение. Наконец подошедший автобус дарил ему свободу, но Герц еще долго стоял и махал ему вслед. Только милая улыбка Бижу отчасти примиряла Герца с другими обязанностями, что ждали его дома.

Бижу Франк очень серьезно относилась к дружбе с матерью Герца, и он надеялся, что мать тоже серьезно относится к дружбе с Бижу, которая казалась — да и была — ей верной подругой. Он часто присутствовал при их разговорах, основой которых были супружеский опыт Бижу и ипо-

хондрия матери Герца. Каждая доброжелательно выслушивала собеседницу, терпеливо дожидаясь своей очереди заговорить.

Пока приступ загадочного сопротивления Фредди своей участи — точнее, участи, уготовленной ему матерью, — не нанес ей сокрушительный удар, эти вечера возвращали матери Герца часть ее прежней уверенности в себе. Для них она одевалась с особенным тщанием, готовила блюдо разной вкусной мелочи; на короткое время к ней возвращались манеры берлинской хозяйки, и она действительно возвышалась над всеми обстоятельствами своей несладкой жизни. Она жаждала общества Бижу, но никогда этого не показывала. Во всяком случае, у них была довольно тесная дружба, хотя, если бы это происходило в Берлине, они встречались бы всего пару раз в год. Чаепития, так же, как шляпка, которую Бижу никогда не снимала, возвращали им обеим уверенность в том, что традиции еще живы, что они обе еще не до конца утратили светские манеры. Возможно, эта уверенность была единственным, что связывало их с прошлой жизнью. Обе это тоже знали и дорожили знанием.

— Ну как наша дорогая подружка сегодня себя чувствует? — вернувшись из магазина,

спрашивал отец Герца, галантно изображая причастность их дружбе, в то время как про себя он молча мечтал о бодрящем стаканчике шнапса.

Но этого ему не позволялось: церемонию следовало завершить глоточком шерри-бренди в компании дам. То был сигнал, что визит близится к завершению и скоро Юлиусу предстоит в очередной раз вести Бижу к остановке.

— О, спасибо, Вилли. А как вы? Как ваша работа?

— Отлично. Все замечательно.

— Какие новости оттуда?

— А какие оттуда могут быть новости? Лучше об этом не думать.

— Я стараюсь не думать, но это не так уж просто.

— Это еще долго будет непросто.

Тут вмешивалась мать Юлиуса и говорила, что им всем надо стараться жить настоящим. Сама она справлялась с этой задачей в своеобразной бесхитростной манере, приглушая тревогу и возмущение зацикленностью на собственном самочувствии, которое она ставила превыше здоровья мужа, и на Фредди, на которого возлагала преувеличенные надежды. О том, что ее надежды неоправданны, у Юлиуса был повод

поразмышлять, когда он сидел с Фредди в почти голой комнате, напомнившей Герцу комнату в общежитии в Брайтоне. Фредди не проявлял ни малейшей склонности уехать отсюда. И Юлиус, и его отец понимали, что, когда Бижу Франк отбудет, миссис Герц вернется к своему обычному состоянию, снимет серьги и ожерелье и, скорее всего, снова переоденется в домашний халат. Дознание о здоровье Фредди будет проведено вечером, когда все уже будут уставшие, и всем прибавит усталости. Что родители знали об этих серых субботних днях? Что Юлиус позволял им узнать? Облегчать жизнь — вот была его задача. Даже обязанность. И наконец, допив вторую рюмку шерри-бренди, его мать позволяла себе принять предложение пойти лечь.

Ужин их состоял из припасенных для гостьи бутербродиков с копченым лососем и маленьких миндальных пирожных. А гостья, видимо, догадываясь об этом, ела очень мало. В каких-то вещах она была очень чуткой. Все они очень дорожили этой дружбой, поскольку больше дружить им было не с кем.

Но по сравнению с дневными часами даже эти утомительные вечера казались отдыхом. Ох уж эти субботы! Даже сейчас, дожив до возраста,

когда ты уже, как говорил Герц, «на грани вымирания», он ненавидел выходные. Воскресенья были еще ничего. По воскресеньям он гулял, захаживал на пару минут в разные церкви — выяснить, понравится ли ему программа (обычно она ему нравилась), и неизбежно снова выходил на улицу, потому что чувствовал, что ему там не место, что его место где-то в менее благостной обстановке. Он не чувствовал, что Господь присутствует на таких церемониях, но знал, что обычным путем бога не достигнуть. Его печалило, что Иисус не является — ведь должен же Он слышать некий зов? Религия предков Герца, которую он не исповедовал, представлялась ему построенной на сплошных запретах, на исключительности праведников, для которой он не видел никаких оснований. Он был бы не прочь стать ближе к Богу, заручиться его покровительством, но этого было ему не дано. Хотя все его мысли и чувства были, как и у его родителей, сугубо мирскими, его не покидало ощущение, будто он изгнан из Германии за какие-то прегрешения предков.

И ему казалось, что дело именно в этом, потому что он не был исполнен любви, как подобает — он это точно знал — истинному христианину.

К примеру, он питал все возрастающую неприязнь к своему брату. И что прикажете делать с этими детскими восторгами по поводу младенца Иисуса? Герц знал, что его задача — облегчать жизнь, но без помощи сверхъестественных сил это было бы слишком тяжело. Он полагал, что должен исполнять свой долг, раз уж от него это требуется. И все же, если бы ему открылось какое-нибудь доброе божество, он попросил бы короткого отпуска, всего лишь немного времени, чтобы поставить свою жизнь на нужные рельсы и сделать свой выбор.

В зрелые годы Герц поражался тому, что его родителям невдомек, что молодым полагаются свобода и развлечения. В конце концов он их простил: ведь представить их юными было попросту невозможно, они родились взрослыми людьми, измученными заботой. Он испытывал к ним жалость, любовь, смешанную с раздражением, он принимал их такими, какие они есть, но при этом знал, что так и не стал их истинным наследником, таким, каким бывает настоящий юный наследник. То же самое можно было сказать и о Фредди, несмотря на все привилегии, которыми они щедро его осыпали. В зрелые годы Герц сумел понять, что Фредди был смелее его, потому что

сознавал, что возмущается своими родителями, которые направили его на ту головокружительную стезю, где он был не в состоянии удержаться. Нервные расстройства Фредди — если можно так их назвать — были скорее выражением протеста, нежели подлинным недугом. Что он заболевает, не было никаких сомнений, и желание миссис Герц представить болезнь Фредди проявлением его артистической натуры, творческой неудовлетворенностью свидетельствовало о ее слепоте и неизменности предпочтений. Заточение Фредди, таким образом, превращалось во что-то более терпимое и воспринималось ею как пауза, во время которой она может строить новые планы на его счет. Опять же по своей слепоте, она не понимала, что эти планы уже никому не нужны.

Итак, субботы были пропитаны меланхолией. На автобусе, потом на поезде, потом опять на автобусе Герц добирался до того отдаленного уголка, где проживал теперь его брат. Дом, бывший некогда частной гостиницей, переоборудовали для долговременного облегчения жизни тем, кто нуждается в убежище. Там был предусмотрен медицинский уход, однако пациенты — или жильцы — должны были сами себя обслуживать под присмотром доброжелательной

миссис Уолтерс, домовладелицы, жившей там же. Эта замечательная женщина всякий раз встречала Юлиуса с искренним радушием. Вот еще один пример непостижимости Святого Духа, ибо миссис Уолтерс была набожна. Фредди, напротив, проявлял очень мало радушия, вероятно не сознавая, что Юлиус жертвует своим свободным временем, чтобы его навестить. Он без особого оживления принимал от брата пакет с фруктами и газету и указывал ему на кресло с таким видом, будто собирался давать интервью репортеру. Его манера говорить «моя мать» и «мой отец» также наводила на мысль об автобиографии. Казалось, он до сих пор пребывает в плену фантазий, что сейчас еще он артист, юный талант, хотя в определенный момент разговора иллюзия рушилась, и он ударялся в слезы. Тогда и Юлиусу казалось, что он сам сейчас заплачет — не только из-за Фредди, но и вообще из-за крушения семьи.

— Не плачь, — произносит он. — Ты выглядишь намного лучше. Вот съешь-ка лучше шоколадку.

И трясущаяся рука с готовностью тянется к сладкому, словно Фредди по-прежнему думает, что ему от рождения положена сладкая жизнь.

Облик его изменился; поредели волосы, ослабело от постоянного бездействия тело. И все же он

не казался недовольным — за исключением тех моментов, когда заводил речь о прошлом. Задним числом он ощущал чудовищную несправедливость возлагавшихся на него надежд, и, судя по всему, эта маленькая пустая комнатка нравилась ему больше дома, который у него когда-то был, и, судя по всему, он чувствовал себя неплохо, пока не наступала пора жаловаться на то давление, которое его сюда привело.

Таков был ритуал этих посещений, и претензии Фредди всегда были одни и те же.

— Я был слишком молод, — говорил он. — Я не умел отказываться. Меня тошнило до и после каждого выступления. И все равно моя мать заставляла меня упражняться, она всегда сидела в первом ряду — в середине первого ряда — на каждом моем выступлении. Мой отец был с ней заодно, хотя мог бы меня спасти. Но у него не хватало смелости. Моя мать всегда им командовала. Жуткая женщина.

Он не спрашивал, как они поживают. Тон его как-то сам собой становился напыщенным, снисходительным по отношению к воображаемому журналисту. Только Фредди словно бы и не знал, что репортер на самом деле — его родной брат. Такие монологи были делом обычным, но Юлиус

не мог не испытывать смущения, их выслушивая. Тщетно выглядывал он в окно и смотрел в белое небо. В комнате было так же холодно, как и снаружи. Даже в редкие солнечные дни за окном не утихали ветра.

— Тебе не скучно здесь? — спросил Юлиус, пытаясь нарушить монотонность дня. Это место просто источало скуку и неуют. — Тебе не хочется заняться какой-нибудь работой?

Фредди потупился.

— Я тут кое-что делаю, — сказал он. — Помогаю иногда на кухне.

— Это ты мог бы делать и дома.

— Я не могу уехать от миссис Уолтерс, — Фредди охватило возбуждение. — Я никогда не смогу уехать от миссис Уолтерс.

— Придется рано или поздно. Мы не можем платить.

— Мне найдут здесь работу. Тогда я смогу сам платить за эту комнату.

В конечном итоге так и вышло. Он стал получать небольшое жалованье в качестве прислуги за все, преимущественно — уборщика. От грязной работы руки его загрубели и распухли, однако трястись стали меньше. Юлиусу это казалось невыносимым позором, однако он понимал, что

никакого другого варианта не было. Когда им придется переехать в квартирку над магазином, для Фредди там комнаты не будет. Каким бы благожелательным Юлиус ни старался быть, ему была невыносима мысль о том, что его место снова может занять брат. Поэтому он промолчал об изменениях в жизни Фредди, лишь сказал отцу, что на содержание брата теперь потребуется меньше денег. Отец бросил на него яростный взгляд, потом покорился. «Какой удар, — сказал он. — Мой чудесный мальчик…»

— Тебе пора идти, — говорит Фредди. — Скоро будут разносить чай. Я обещал помыть после этого посуду.

«Увидимся через неделю», — говорили они друг другу, словно в этом была какая-то необходимость. На пороге они обнимались. В этом объятии присутствовали даже чувства изначально любящих друг друга братьев. На этом визит заканчивался.

Юлиус и сам считал, что его родителям не под силу та обязанность, которую он каждую неделю брал на себя. Родители (и Фредди об этом тоже знал) были чересчур боязливы, чтобы открыто встретить крушение своих надежд, и потому упорствовали в иллюзии, что все идет нормаль-

но, и начисто отрицали факты. Такая тактика помогала им выжить, и они отчаянно за нее цеплялись. Все бремя легло на плечи младшего сына, и Юлиус стал опекуном всех троих, не сознавая сам, как называется его роль. И все же на обратном пути к остановке его каждый раз охватывало чувство грусти, и окружающий ландшафт сразу терял краски. Однажды на этом пути трагедия жизни Фредди внезапно открылась ему во всей своей полноте — и до конца было еще далеко: он скатывался от всеми лелеемого юного дарования до уровня прислуги непрерывно и без помех. А ведь до сих пор Юлиус, по молодости своей, верил, что какая-то высшая сила остановит этот необратимый процесс. Он принял без возражений тот факт, что Фредди больше не слушает музыку, но пребывал в убеждении, что искусство должно удерживать человека от такого падения. Искусство, несомненно, являлось ключом к двери в более прекрасный мир, однако Фредди расторг помолвку с музыкой, словно их связь была всего лишь флиртом, который так и не перерос в зрелые отношения. Его мать по-прежнему слушала музыку по радио и отбивала такт рукой, да и в магазине, если уж на то пошло, их окружала музыка, но Юлиусу и его отцу не было

дела до музыки. Им было дело до Фредди и до его мятежа, который закончился почти желанным поражением. А может, в этом поражении и было освобождение? Не обрел ли Фредди таким неестественным образом душевный покой? Он словно бы отбросил прежнюю жизнь и вместе с нею все, что ее тогда наполняло. Миссис Уолтерс была теперь его родительницей, и Юлиус не видел смысла уговаривать его вернуться домой во всех смыслах этого слова. «Моя мать» и «мой отец» стали почти мифическими персонажами, никак не относящимися к настоящему, а сам Юлиус был слишком незначительной фигурой, чтобы пробудить большой интерес Фредди. Наверное, и не стоило тревожить его отголосками событий большого мира, но Юлиуса беспокоило, что произойдет, если — и когда — умрут его родители. Вызовет ли это какое-нибудь пробуждение, катаклизм похороненных чувств? Этого надо будет постараться всеми силами не допустить, поскольку Фредди мог сломаться снова. А уж что случится, если Фредди суждено умереть прежде, чем родителям, об этом даже подумать было невозможно. Крушение двух других хрупких жизней — трех, если считать его собственную, было бы полным. Юлиус не сомневался, что за смертью

брата стремительно последуют одна за другой новые смерти, и его потребность облегчать жизнь, цель, которой он все еще был верен, предстанет в своем истинном виде: желания, тщетного желания, чтобы его усилия были увенчаны пусть не славой, так хотя бы сознанием благородства.

Через пятьдесят лет, спустя целую жизнь, Герц пришел к мысли, что одаренность Фредди, хоть и феноменальная, была нехорошего свойства. Она была сродни аутизму, а не подлинной страсти. Зрители завороженно глядели, как по лицу Фредди, сменяясь, пробегали оттенки чувств, словно видели в действии работу подсознания. Он казался совершенно непричастным к тому, что переживал и чувствовал, как будто эти переживания происходили в другом измерении, не соприкасающемся с повседневностью. Публика на него ходила охотно, но так, как стремятся посмотреть диковинку, ярмарочное представление. Возвращение к повседневности, надо думать, было в высшей степени болезненным. Неудивительно, что ему пришлось бросить играть, подавлять тошноту, переезжать с места на место. Неудивительно, что он сломался. И как только его болезнь была названа, бремя словно бы стало легче, как будто больше уже никто ничего не станет

от него ожидать. Даже мать, в общем-то, об этом знала, хотя по своим соображениям изо всех сил поддерживала фикцию, что он выздоравливает. Несмотря на всю кошмарность своих поездок к брату, Юлиус видел, что поделать ничего нельзя, и уезжал из Брайтона не как человек, выполнивший свой долг, а скорее как принявший участие в церемонии, на которой не было церемоний-мейстера. Эмоции, которые испытывал он сам, хотя и чрезвычайно сильные, относились к нему самому, будто он был как те жертвы Французской революции, которых привязывали к трупам и бросали в реку. Им пожертвовали в беспомощном служении тому, кто во многих отношениях уже ушел из этой жизни.

Герц спросил себя, неужели все старики начинают все понимать, когда уже ничего нельзя исправить? Он спросил себя, размышляют ли, как он, те люди, что идут по улице мимо него, о том, чего не воротишь? В таких раздумьях мало проку; они являются результатом течения времени, а потому применения им нет. Как еще он мог повлиять даже теперь на те грустные субботы, кроме того, что признать себя их наследником? Как бы он ни старался, он не мог отделаться от ощущения, что должен быть сейчас в другом

месте, что должен не делать покупки у «Маркса и Спенсера», но покорно брести по пустой дороге, подняв воротник для защиты от морского ветра. И только когда суббота подходила к концу, когда он сидел против бесспорно своего персонального телевизора, в своей доказуемо персональной квартире, он мог расслабиться. Но даже тогда он был почти готов снова выйти, чтобы довести миссис Франк до автобусной остановки и вновь отложить на потом свою жизнь, в тщетной надежде, что кто-то ее для него восстановит.

Брат умер в приюте, рядом с ним был лишь он один. Как он и надеялся, родители умерли раньше Фредди. Юлиус все не мог решить, сказать ли Фредди об их смерти, и наконец сказал. Фредди был в тот миг уже очень слаб, сознание то покидало его, то снова возвращалось, но он, кажется, понял. Словно объединенные семейной скорбью, они взялись за руки. В тот миг, когда их руки похолодели в унисон, Юлиус понял, что жизнь Фредди оборвалась. Он и при этом не казался недовольным. Черты его приобрели то странное отдаленное очарование, какое проявлялось, когда он играл. Похоже было, что сама смерть являла свое присутствие еще в те далекие дни его успеха. Только на этот раз ясно было, что ему

совсем не страшно.

3

Позже в тот же день Герц позвонил в центр садоводства, где теперь работала его бывшая жена, и попросил позвать миссис Бернс. После развода Джози вернула себе девичью фамилию, но продолжала именоваться как замужняя женщина. Герц находил это совершенно естественным; он был согласен с тем, что брак, даже более не существующий, прибавляет достоинства женщине, а женщины нынче больше беспокоятся, кажется, именно о своем статусе. Кроме того, по всем статьям она была дама, и ее вполне устраивал этот статус, возможно даже в большей степени, чем когда она действительно была замужем. К тому же в ее возрасте достоинство особенно ценится, а в положении одинокой женщины, как бы там пропаганда ни утверждала обратное, все же есть что-то грустное. Иное дело — вдова. Он подозревал, что Джози очень подошла бы роль вдовы, но она все еще была слишком сильно к нему привязана, чтобы закрепиться в этом, с ее точки зрения, идеальном образе. Он знал, что развод их разделил; он также знал, что они останутся друзьями.

На самом деле они всегда были друзьями, больше даже, чем мужем и женой. Их брак длился всего два с половиной года, и они расстались без вражды. Ему по-прежнему иногда хотелось ее видеть, с той ровной теплотой, которая стала обычной для них обоих. Время от времени они встречались, без неуместного нетерпения с чьей-либо стороны, а со спокойствием, которое им приносила неизменность характера таких встреч. Они ничего не потеряли; они остались больше чем знакомыми, фактически — союзниками, только менее церемонными, поскольку когда-то имели хоть и кратковременную, но насыщенную физическую связь.

— Джози? Это Юлиус. Я хотел спросить — может, пообедаем вместе где-нибудь на следующей неделе?

— С удовольствием. Мне удобнее всего в понедельник. По понедельникам у меня меньше дел.

— Значит, в следующий понедельник. «Шикиз», в двенадцать сорок пять.

— Значит, увидимся. До свидания, Юлиус.

Ему нравился ее деловитый тон по телефону. Джози никогда не виляла и была из тех женщин, которые все говорят в лоб, инстинктивно и почти не обидно. В каком-то смысле это и привело к их

разводу. Он подавил застаревшее чувство стыда, вспомнив, как пытался отучить ее от откровенности. За себя он не переживал; вот за других он переживал чересчур.

Герц со вздохом подошел к зеркалу и внимательно оглядел себя, как будто они должны были встретиться сейчас же. Она считала его красивым, «видным», как она выражалась, и, возможно, даже сейчас думала так же. Ему в ней больше всего нравилась ее физическая заурядность, хотя она была миловидна и могла бы сделать из себя что-то большее. Очевидно, она считала, что это то ли не нужно, то ли невозможно. Так или иначе, она всегда выглядела практично, разве только чуть неопрятно, что всегда вызывало в нем стремление ее прибрать, сделать ей стильную прическу, слегка подкрасить ей губы и даже надушить ее духами, которые он с удовольствием ей покупал. Но духи она осмеивала и продолжала ограничиваться энергичным умыванием по утрам. Он находил ее естественный запах возбуждающим, хотя в глубине души был совершенно разочарован тем, что она нисколько не напоминала тех изнеженных женщин, к которым он привык с юности, женщин с накрашенными ногтями и лицами. Его тетушка Анна, например, всегда

изысканно одевалась и делала укладку, а если от постоянных усилий она становилась слегка раздраженной, то он мирился и с этим. Инстинктивно он предпочитал женщин, которые что-то из себя строили, были капризны, даже жеманны, хотя и знал, что такое поведение вышло из моды. Джози, со своими густыми волосами и ненакрашенным лицом, которое он любил, не смогла затмить образ, который он, так или иначе, находил более доступным для своего понимания.

Но теперь они оба уже постарели, их внешность больше не была предметом обсуждения. В зеркале он видел мрачного узколицего мужчину, которого больше нельзя было соотнести с тем, кем он был в молодости, его приветливая улыбка померкла, более от одиночества, чем от пережитого. По правде говоря, он чувствовал себя столь же неподготовленным к жизни, как и в юности, хотя старался справляться, как справлялся всегда или как ему думалось, что справляется. Он знал, что он сутулится, что быстро утомляется, что он больше не может пройти пешком столько, сколько раньше, что он стал гораздо чувствительнее к холоду. Эта холодная весна, эти долгие светлые вечера сделали его беспокойным как в детстве, отгоняли сон до такой степени, что ему хотелось

встать и начать день, даже притом, что день этот был бы таким же пустым, как ночь. Он вернулся мысленно к тем ночам, которые проводил с женой, но это не пробудило желания — странно, ведь они были такими пылкими партнерами. Он так жаждал тогда продолжительности, постоянства — после многих лет мимолетных связей, авантюрно затеваемых ради удовлетворения аппетита. О браке у него были такие же идеалистические представления, как у юной девушки, и он едва мог поверить своему везению, когда наконец перешел на положение женатого человека.

И он хотел, чтобы кто-нибудь был добр к нему, заботился о нем и утолял печаль, которая, казалось, никогда не проходила. Эта печаль не имела никакого отношения к тяготам жизни и разочарованиям, но была скорее наследием, которого он до конца не понимал. И приписывать эту печаль ранним лишениям, казалось ему, совсем не значило ее объяснить. Конечно, были и законные печали, которые были совершенно очевидны, но печаль переживала явления, ее вызывавшие, так что теперь она не только была неискоренима, но еще и обновлялась каждый день благодаря его стариковскому состоянию. Эти холодные ночи в несогретой постели были неприятны не только

физически, но и эмоционально, и даже морально невыносимы. Жизнь не должна заканчиваться вот так. И он вынужден был признать, что развод хоть и вернул его опять к состоянию одинокого мечтателя, к состоянию, в котором он все еще лелеял образ Фанни Бауэр, но привел к сокращению тех радостей, которые еще могла предложить жизнь.

Не в том даже дело, что его жена удовлетворяла всем мыслимым требованиям, воплощала все мечты о товарищеских отношениях, что он сохранил с юности. Все было еще проще. Она была здравомыслящая, практичная, нормальная, а на первых порах, казалось, была просто-таки гениально нормальной, так что сам он чувствовал себя с ней здоровее, сердечнее, оптимистичнее и с большим энтузиазмом выполнял свои многочисленные обязанности. Прежде всего, ему не приходилось ничего компенсировать, утешать ее в несчастье, улучшать для нее мир… И хотя на развод подала она, он понимал, что вина лежит на нем, первородная вина, как первородный грех, которую, возможно, не сразу обнаружишь. Они не подходили друг другу, но не в общеупотребительном смысле, несмотря на то, что происхождение у них было совершенно разным: они не подходи-

ли друг другу в силу разности своих интересов, хотя на какое-то время их интересы чудесным образом совпали. Совершенно очевидно, что он ее подвел, пусть даже формально в этом не было его вины или злого умысла. Возможно, виноваты были другие, но он не мог всю ответственность возложить на этих других. Забывать о собственных интересах, подумалось ему, всегда фатально. Надо отдать себе должное — он не позволял своим интересам брать верх над чувством справедливости. Потому-то он до сих пор может с нетерпением ждать очередной встречи с женой. Их привязанность друг к другу не угасла, а скорее наоборот, усилилась после того, как их интересы перестали соприкасаться. Он вздохнул, подумав, что пройдет еще целая долгая неделя, прежде чем он снова ее увидит.

Обстоятельства, при которых они познакомились, были столь неожиданными, столь таинственными — и вместе с тем столь банальными, что уместно было вспомнить слово «судьба». Поначалу он не обратил внимания на женщину, стоящую перед ним в очереди в банке, пока она не попросила у него ручку — выписать чек. Думая больше о выручке магазина, которая лежала у него в специальной холщовой сумке, он скупо

улыбнулся, но не сделал попытки завязать беседу. И только когда они вместе направились к выходу, ему захотелось как-то выразить свою симпатию. Не успели они обменяться успокоительными фразами вроде «славный денек», «да, наконец-то», как прямо у дверей банка случилась авария, и они инстинктивно бросились сквозь двойные двери на улицу, где увидели распростертого на земле молодого человека, над которым стоял таксист. Прямо перед капотом такси лежал на боку огромный дымящийся мотоцикл, так что картина аварии стала ясна, хотя какова в ней была роль таксиста, так и осталось неясно. Подошли еще люди, кто-то сказал, что нужно вызвать «скорую».

— Пропустите меня, — сказала женщина, которая и была Джози, — я медсестра.

Она склонилась над потрясенным пареньком, которому было на вид лет восемнадцать-девятнадцать, и спросила:

— Слышишь меня? Как твое имя?

— Ричард, — послышался слабый ответ.

— Не волнуйся, Ричард. Мы о тебе позаботимся.

Кто-то вышел из банка и сказал, что санитарная машина на подходе.

— Не шевелите его, — доброжелательно, но твердо распоряжалась она. — Кажется, у него сломано плечо.

Оказалось совершенно естественным, что они вместе сели с парнишкой в «скорую» и даже подождали, пока ему найдут койку в больнице. Когда появился доктор, (изможденный и на вид не старше своего пациента), Герц взял ее под руку и вывел из больницы. Казалось, все происходит во сне: он уже чувствовал, что знает эту женщину так же хорошо, как всех знакомых ему людей.

— Не хотите выпить кофе? — спросил он.

Она отказалась, сказав, что ей нужно на работу. Он с сожалением проводил ее взглядом.

После обеда он отправил отца отдохнуть в пока еще нежилую квартиру над магазином. Он делал это каждый день, хоть и знал, что благодаря этому обычаю он будет привязан к магазину до конца дня, когда его отец с похоронным видом выйдет, не имея ни малейшего желания возобновлять знакомство с коммерцией, которую считал презренным занятием. Если появится постоянный покупатель, они будут рады перемолвиться словом, а не будет покупателей — будут коротать часы вдвоем, молча. То, что они постоянно, и дома и на работе, были вместе, конечно, давило

на Герца, но и многое упрощало: не нужно было разговаривать. Он смотрел, не делая никаких замечаний, как его отец к концу рабочего дня становится все небрежнее, волосы всклокочены после недавней сиесты, из кармана брюк торчит носовой платок. С этим ничего нельзя было поделать: они оба слишком основательно погрязли в унынии, чтобы помышлять о самосовершенствовании. Для Юлиуса почти облегчением было знать, что его отец на пару часов будет недоступен для общения, скованный сном на кровати, которая осталась в квартире от прежних жильцов и которую Островский иногда использовал для свиданий. Совершенно неизвестно было, чем еще он может заниматься, когда остается один. Свой магазин, до которого ему, в сущности, не было дела, он с радостью оставлял на попечение отца и сына Герцев, а сам отправлялся играть в карты или к девочкам; время от времени снова заглядывал узнать, как идут дела, больше из любопытства, выпивал с ними кофе и, удовлетворенный состоянием своего бизнеса, вновь исчезал в уличной толпе. Они подозревали, что дни их проживания на Хиллтоп-роуд сочтены, что Островский без лишних колебаний турнет их, достаточно того, что он нашел им другую

квартиру. То, что квартира эта заведомо хуже — пыльная, темная и к ней ведет скрипучая старая лестница, — похоже, не обсуждалось. Они все это знали, но отец Юлиуса был слишком вежлив, чтобы жаловаться или выражать свое неудовольствие. То, что они чувствовали, не было даже неудовольствием, то было, опять же, отчаяние.

Вилли Герц знал, что его жена, которой все же придется посмотреть квартиру, вскрикнет от ужаса, заявит, что жить здесь невозможно, и, хуже того, не сделает ни малейшей попытки привести ее в жилой вид. Это ляжет на его плечи. Сколько уже раз за долгую жизнь ему приходилось подвигать жену на разные энергичные действия, невзирая на ее несчастье, давно ставшее его собственным! Эта квартира вполне бы ему подошла, но только при условии, что он жил бы в ней один. Его заветной мечтой было вновь сделаться холостяком, ибо лишь холостым он мог справиться с этой новой жизнью. Сделать счастливой свою возлюбленную супругу было ему не по силам, да теперь уже и никому не удастся. Он страшился того часа, когда его несчастье выйдет наружу, и был благодарен Юлиусу — не самому любимому сыну — за его такт, понимал, со скорбью, что Юлиусом пожертвовали и, если

не случится чудо, будут и дальше жертвовать, поскольку семья связана одним горем и перспектив возрождения нет.

В дневные часы Юлиус почти ничем не был занят, и мысли его постоянно возвращались к утреннему происшествию, причем ему виделось испуганное лицо паренька, а не умелой медсестры. Ричард его зовут. Не слишком ли быстро он ушел, боясь помешать сиделке? Он решил сразу же после работы отправиться в больницу, узнать, не нужно ли чего пареньку, пообещать еще его навестить. Этот визит дал ему странное ощущение счастья. Без кожаной амуниции Ричард выглядел еще моложе, чем показалось сначала, — лет семнадцати, не больше. Он сказал Юлиусу, что дал знать родителям и велел им не беспокоиться. Юлиус подумал, что это очень зрелый поступок, и сказал об этом вслух. Мальчик был польщен. В больничной пижаме и с гипсом, сковавшим руку и плечо, он мало что мог для себя сделать.

— Здесь все очень добры, но все так заняты, — только и сказал Ричард.

Юлиус вышел, чтобы купить для больного всякие вещи первой необходимости в больничной лавочке, и сказал парнишке, что, если у него есть пожелание, ему достаточно только сказать. После

недолгого колебания мальчик попросил журнал о мотоциклах. Герц обещал назавтра принести ему журнал, собрался уходить, поднялся с места и тут увидел медсестру — ту, свою. Его вдруг окатила волна радости. Они стояли по обе стороны кровати и улыбались Ричарду, как будто он принадлежал им обоим. Потом, когда время визита вышло, они попрощались и обещали снова его навестить. Герц ломал голову, как бы ему продолжить это необычное знакомство. Но оказалось, что ломать голову было не над чем, поскольку, едва они вышли на улицу, она повернулась к нему и сказала:

— Я выпила бы сейчас кофе, если вы не спешите.

— Очень рад, — сказал он. И не покривил душой.

Во время этого первого, пробного свидания он кое-что, правда немного, о ней узнал. Она работала приходящей сиделкой, работу ей давало агентство, жила она в Уондсворте, в одной квартире с еще двумя девушками. Рассказывать о своем происхождении было вроде как рановато, но она сказала, что ее воспитывали бабушка с дедушкой, после того как мать овдовела и стала работать, и что у нее было совершенно счаст-

ливое детство в Мейдстоуне, где по-прежнему живет ее мать, вышедшая на пенсию.

— Вы ведь не англичанин, верно? — с обескураживающей прямотой спросила она, так что ему пришлось немного рассказать о своем прошлом. Потом она поблагодарила его за кофе и встала, собираясь уйти.

— Мы еще увидимся? — спросил он.

Она улыбнулась:

— Я почти уверена.

После второго визита к их общему пациенту он пригласил ее перекусить, после чего они воспользовались квартиркой над магазином к их взаимному удовлетворению.

Его поразила ее честность, как в постели, так и вне ее. Привыкнув к вежливой уклончивости своего отца и причитаниям матери, Юлиус думал, что ему будет трудно выносить ее открытость, но на самом деле он и сам становился свободнее. Джози была сильна своей естественностью, показавшейся ему качеством иностранным. Он ни с чем подобным никогда не сталкивался и счел такой характер типично английским, и, несмотря на то, что в будущем ему много раз приходилось убеждаться в обратном, остался при этом мнении. Уже через несколько дней он понял, что

хочет на ней жениться, что ему нужно ее уютное, надежное присутствие в его жизни, как защита от дальнейших бед. Единственное затруднение, которое Герц предвидел, — как познакомить ее с привычками и обычаями, царившими на Хиллтоп-роуд, с тем, что спать ложатся рано, с тем, что в доме бывают лишь Бижу Франк да еще Островский, который иногда заглядывал в пятницу вечером, «чтобы поддержать старые традиции», как он выражался, хотя традиций таких не было.

Мать Юлиуса даже оставила свою прежнюю непримиримость и написала сестре в «Бо Риваж», в Нион, где сама ни разу не бывала и, судя по всему, не побывает. Но Юлиус беспокоился напрасно, потому что родителям Джози очень понравилась, и они увидели в ней, не без оснований, символ жизни и здоровья, «глоток свежего воздуха», как сказала мать. Для него было почти сюрпризом, что Джози, такая прямолинейная, да еще и не особенно опрятная, произвела на них такое хорошее впечатление. Как и (он первым это осознал) его родители на нее. Мать его расстаралась и приготовила хороший ужин, который Джози ела с явным удовольствием. Первое знакомство прошло как нельзя удачнее.

— Как у вас тут красиво, — сказала Джози, — не

то что…

«В квартирке над магазином», — хотела она сказать.

Юлиус бросил на нее предостерегающий взгляд, но заметил, что отец прячет улыбку и отворачивается, чтобы улыбнуться во весь рот.

— О, Юлиус вам уже показывал другую квартиру? — ничего не подозревая, спросила мать. — Ах, скоро нам придется приспосабливаться к ней. Разумеется, привыкнуть будет невозможно.

— Разве так уж необходимо переезжать? Вы не можете остаться тут?

— Хозяин квартиры, мистер Островский, которого вы наверняка увидите, хочет сам здесь жить, хотя он неисправимый путешественник и вряд ли будет часто здесь бывать.

Это была больная тема, но разве они могли не уступить желаниям Островского? Жизнь его была для них загадкой, мотивы непонятны. Однако он был их покровителем, да еще и работодателем: спорить было просто невозможно. Без него они лишились бы крова или работы. На переезд у них не было денег, хотя магазин давал приличный доход. Про себя Юлиус думал, что, будь он за главного, он ввел бы некоторые усовершенствования и черпал бы вдохновение где-то в другом

месте. Для этого нужно было убедить отца выйти на пенсию, хотя сделать это будет непросто. Выйдя на пенсию, отец сможет возобновить те долгие прогулки, которые ему так нравились, и, когда Джози будет уже жить с ними, сможет, приходя домой, встречать более теплый и уж точно более интересный прием, чем могла дать ему жена. Эта жена пила сейчас кофе, хотя после кофе ее всегда тянуло поплакать и на щеках у нее выступили красные пятна. В комнате повисла напряженность, но Джози с профессиональной отрешенностью вывела хозяйку из этого состояния, сказав, что вечер просто чудесный, и щедро похвалив ужин.

— А где вы работаете? — спросила фрау Герц.

— Я выполняю частную работу, ухаживаю за больными на дому.

— Ах! — воскликнула мать с блаженной улыбкой. — Какое это для них счастье! — После этого ее нервозность более или менее прошла.

В ту ночь, посадив Джози в такси, Юлиус лег спать, и ему приснилось, что его брат Фредди, в полосатом свитере и фуражке, какие носят швейцары, в раздражении пробирается сквозь целую гору книг, которые якобы хочет вывезти из магазина или из библиотеки, где все это происходит.

Вроде бы он приобретает их для своего удовольствия и просит продавца или библиотекаря все упаковать.

«У вас есть грузовик?» — спрашивает он, все таким же раздраженным тоном, хотя Юлиусу, который скрывается на дальнем плане, ясно, что тут понадобится целая фура. Когда Фредди бывал в таком настроении, главное было — держаться от него подальше, хотя сон не имел ничего общего с действительностью, поскольку Фредди в жизни читал только газеты, да и то нечасто.

Герц проснулся разбитым, сказал себе, что вскоре он станет женатым человеком, и решил поменьше считаться с пожеланиями своей семьи. Выйдя на пенсию, отец сможет больше делать для всех. Предполагаемый уход на пенсию его отца стал в сознании Юлиуса фактически неизбежным. Перемены были необходимы, и он был настроен их произвести.

Ему хотелось перемен, вот что на самом деле им двигало. Все они жаждали перемен. Даже Джози жаждала перемен. Ей надоела ее работа, она устала целый день сидеть в четырех стенах, хотела больше бывать на свежем воздухе. Он ей не возражал, где уж ему было с ней спорить. На самом-то деле он бы хотел, чтобы она сидела до-

ма, не давала его матери хандрить. Все решилось довольно-таки внезапно. Когда они объявили, что пошли и поженились, его родители не были удивлены. Отец Юлиуса достал из буфета в спальне бутылку шампанского, и они выпили за здоровье друг друга, поражаясь тому, что перемены происходят так легко.

Перемены продолжались. Отец вышел на пенсию, пожалуй даже с чувством облегчения, и Юлиус стал управлять магазином сам. Его мать снова занялась хозяйством: на столе появлялись жареные цыплята, и холодная рыба *a lajuive,*[2] и компот из фруктов. Джози, похоже, была довольна своим положением дочери дома и с готовностью играла свою роль, когда мать Юлиуса, снова страдая от какой-нибудь из своих хворей, требовала ее внимания. Они привыкли слышать, как она кричит из спальни: «Джози! Джози!», даже в то время, когда они сами собирались ложиться спать. Казалось, у всех улучшилось самочувствие, хотя мать этого не признавала. И молодые люди, как к ним обращался отец Герца, наслаждались своей близостью, этой новой льготой, которую они получили. Несмотря на

---

[2] Примечания: 2
По-еврейски *(франц.).*

все усилия его матери, Джози по-прежнему выглядела не очень опрятно, но Юлиус находил это странно привлекательным, и уж во всяком случае, без одежды она ему казалась просто великолепной. Она играла свою роль, и за это он будет вечно ей благодарен… Да и ей, похоже, нравилась ее новая жизнь, она радовалась, что съехала с квартиры, в которой жила с такими же, как она, девушками, радовалась почету и уважению, любви. Даже странное вторжение в их личную жизнь казалось терпимым. У них была своя половина в противоположном конце квартиры, и им не сильно мешало близкое присутствие родителей Герца. Женитьба казалась идеальным решением всех их проблем.

Судьбу их решил переезд на Эджвер-роуд. Здесь помощь Джози была так же неоценима. Она затребовала наверх женщину, которая убирала в магазине, и заставила ее привести квартиру в порядок. Не спрашивая ничьего разрешения, она забрала с квартиры на Хиллтоп-роуд кое-что из мебели и поставила в тесных комнатах нового жилья. Она изо всех сил старалась подбодрить их, поднять их боевой дух, но без особого успеха. Их спальни уже не разделял просторный коридор. Хорошее настроение матери Герца угасло, отец

целыми днями где-то пропадал и не говорил где.

Бижу Франк сообщила, что не сможет больше так часто у них бывать, поскольку добираться стало неудобно. Мать Юлиуса это расстроило, и, возможно, больше, чем Бижу Франк, как утверждала обидчивая госпожа Герц. Всеобщее самочувствие снова начало ухудшаться. Джози снова стало не хватать свежего воздуха. Потом его мать простудилась и слегла с бронхитом, и Джози снова сделалась медсестрой и сиделкой. Они уже не могли спать спокойно из-за уличного шума, из-за звуков, доносившихся из соседней спальни. Слышно было, как родители ругались, но хуже всего было то, что его мать постоянно звала, чтобы ей помогли, принесли лекарство, утешили. Джози со вздохом вставала, уже безо всяких добрых чувств. Потом они снова ложились спать, но ненадолго. «Джози! Джози!» — снова раздавался зов, вечной мольбою. То, чего требовала мать Юлиуса, была любовь, но она не замечала, что любовь эта быстро угасает.

А потом все кончилось. Джози заявила, что она уходит, и Юлиус не мог ее за это винить. Его утомили возобновившиеся жалобы матери, он видел, что начинают проявляться все новые различия между ним и Джози. Ему самому хотелось

покоя, и он не видел другого выхода, как только восстановить семью в том состоянии, в каком она была до этого недолгого возрождения. Он будет о них заботиться, по мере своих сил, и, как всегда, будет улучшать их жизнь. Отец казался больным, потерянным. Мать еще не вполне выздоровела, придется все внимание уделять ей. Он почти желал, чтобы Джози покинула дом, чтобы она их всех пощадила.

— Я люблю тебя, — сказал он, наблюдая за тем, как она собирает вещи.

— Ну да, — ответила она. — Только не в таких обстоятельствах.

Он поцеловал ее на прощанье. Это был самый торжественный момент в его жизни, более торжественный, чем бракосочетание. Она тоже растрогалась. Именно этот момент истинного чувства подтвердил для него, что он был женатым человеком и больше таковым не является.

4

— Тарталетки с лососиной! Мои любимые!

Герц улыбнулся. Он проверил, есть ли они в меню, еще когда заказывал столик. Сразу после этого он потерял интерес к встрече — словно потому, что больше ничего не надо было готовить; все было подготовлено. Ему было бы приятнее — нет, правда, приятнее, — если бы обед продолжался дальше без него. Таково уж было свойство этих дней: все удовольствие — в предвкушении, и лишь самая малость — в самом событии. Он подумал, что, наверное, все старики чувствуют это легкое замирание сердца перед каждым контактом, поскольку необходимость быть «положительным» (любимое словечко Джози) загоняет людей, склонных уже более к воспоминаниям, чем к проявлению здорового любопытства, в жесткие рамки.

Его хандру подкрепляло также убеждение, с которым он легко справлялся, когда бывал один: что Джози изо всех сил старается его встряхнуть и взбодрить, словно его изысканная грусть бросала ей вызов. Джози, по ее собственному выражению,

«всегда умела обращаться с пожилыми людьми», к которым она себя не причисляла, хотя ей шел шестьдесят седьмой год и фактически она была «пенсионеркой», как и Герц. Но, напомнил он себе, ведь она все еще работает в центре садоводства, и, судя по всему, нашла там свое истинное призвание. Получается, что ее первая специальность была фальстартом. Вот что их отличало: ее дни были заполнены, а его — пусты, посвящены лишь повседневным заботам, столь незначительным, что едва ли их можно было измерить по шкале ее свершений. Это различие ставило его в морально невыгодное положение и усиливало желание оказаться там, где ее нет, хотя внешне их общение было вполне куртуазным.

— Много дел? — скромно спросил Герц.

— Уйма. Сейчас в основном высаживаю. А сегодня еще новое поступление. Так что я должна буду довольно скоро тебя покинуть. Хорошо хоть машина на стоянке. А то бы…

Пожалуй, единственным признаком того, что она стареет, была ее неспособность составить полноценное предложение, словно ей было жалко времени на все формальности нормальной речи. Однако выглядела она практически как всегда. Ее вьющиеся волосы поседели, но лицо

не утратило румянца — сразу видно, что человек много времени проводит на воздухе. Светлые глаза, самая привлекательная из ее черт, остались ясными, но если бы Герц встретил ее без подготовки, а можно сказать, так оно и было, он бы, пожалуй, счел ее за какого-то мутанта, за что-то среднее между женщиной и мужчиной. Плечи ее раздались и стали полнее, руки стали крупнее и казались не такими ухоженными. Когда она мазала себе хлеб маслом, Герц заметил, что у нее на левой руке безымянный и мизинец плохо разгибаются. Но он не стал ничего спрашивать, поскольку темы здоровья можно было касаться лишь в самых общих чертах.

— Как самочувствие? — спросил он.

— О, прекрасно. Ты же меня знаешь.

Он отметил, что она не справилась в ответ о его самочувствии, и воспринял это как одну из составляющих ее стратегий быть положительной. Она не собиралась делить с ним его тяготы. И не стала бы этого делать, даже будь он в совершеннейшем отчаянии. Внезапно Герц понял, чем на самом деле объяснялось его нежелание играть свою роль: у него пелена спала с глаз. То, что в его затворнических грезах выглядело заманчиво, быстро обернулось разочарованием. Он

приписывал это влиянию действительности на мечтательную натуру, но все же не мог избавиться от чувства, что в их отношениях изначально был какой-то изъян и что воспоминания его были ошибочными. Джози первая заметила их несовместимость: ее примитивно-практический ум быстрее вырабатывал решения и был лучше приспособлен к тому, чтобы потом о них не жалеть. Ее эгоцентризм, которым Герц всегда восхищался, считая его показателем душевного здоровья, оберегал ее не только от многочисленных неприятных открытий в жизни, но и от ненужного сочувствия кому бы то ни было. Возможно, она слишком живо напоминала ему о прошлом и была одной из немногих знакомых по прежним временам, кто был еще жив и в добром здравии. Он вновь ощутил всплеск благодарности за ее абсолютную жизнеспособность. В присутствии Джози ему не грозила опасность погрузиться в мрачные раздумья — по той простой причине, что против них у нее было свое оружие. Его сигналы бедствия она бы просто проигнорировала в интересах самосохранения. Он это воспринимал исключительно как достойную восхищения и даже зависти черту. Попытайся он затеять дискуссию, из тех, что ему так хотелось начать, она

бы ощетинилась, как еж. Герцу оставалось лишь довольствоваться своим восхищением, как это неизбежно с ним бывало, и восхищаться даже теми качествами Джози, которые сами по себе не казались ему восхитительными.

Таким вот образом проходили в последнее время их встречи: обед в хорошем ресторане и попытка (с его стороны) восстановить былую близость, обычно безуспешная. Это была пародия на ухаживание, в котором не было надобности в первые дни их знакомства. Пожалуй, Герц по-прежнему хотел добиться от нее признания, что какую-то роль в ее жизни он все же сыграл. Ей же, очевидно, не нужно было убеждать себя в том, что его присутствие — это присутствие давнего и дорогого друга. «Положительное» мышление только подкрепляло ее независимость. Герц с содроганием понял, что ее доброжелательность уже нельзя принимать как должное. Он в смятении опустил голову, заметив, что она начинает скучать и может сфабриковать повод больше с ним не встречаться, только бы не подпускать к себе скуку, что его приглашения она принимала лишь из чувства долга, а сама с удовольствием отделалась бы телефонным звонком, а то и вовсе обошлась без звонка. И ведь она же работает,

напомнил себе Герц, и, вероятно, слишком занята для всех этих старомодных церемоний. Как всегда, он принялся корить себя за то, что неверно истолковал ее согласие с ним пообедать. Она это сделала, чтобы вычеркнуть его из списка своих обязанностей. Быстро оказанная помощь освобождает от дальнейших мероприятий… К тому же она никогда не жаловалась на отсутствие аппетита. А он всегда старался выбирать достойный, даже престижный, ресторан, чтобы ей было не так жалко потраченного зря времени. До сих пор он тешил себя иллюзией, что может позвонить ей, если прижмет — ну, например, если он заболеет. Теперь же он понял, что это и впрямь была иллюзия — одна из многих, которыми он себя тешил, — и что Джози не сделает ничего, чтобы ему было легче к ней обратиться. Ее знаменитая «положительность», подобно страховому полису, распространяется только на нее одну. Он подумал: а были ли у нее другие партнеры? Партнером она обычно называла менеджера из центра садоводства. Герц считал, что этот термин она употребляет в сугубо деловом значении, но сейчас он сообразил, что Том, о здоровье которого тоже надо бы справиться, был для нее чем-то большим, и что полнеющая женщина напротив

него покорила сердце другого мужчины. Это поразило его как часть некоего жизненного плана, в который его не включили. Опять он оказался в дураках. Герц, словно бы увидев себя со стороны, расплылся в улыбке.

— А как Том? — спросил он, в то время как официант разливал вино.

— Том отлично, — твердо сказала она.

После этого им обоим стало легче, словно было сказано что-то важное. По счастью, в это самое время принесли еду. Джози явно обрадовалась, и Герц испытал некоторое удовлетворение от того, что хотя бы в этом ее не подвел.

И все же в одиночестве ему было бы лучше. Он украдкой огляделся по сторонам и обратил внимание на двух женщин за соседним столиком. Они были не то сестры, не то невестки и явно не из тех женщин, которые работают. Он предположил, что они встретились в городе, чтобы вместе провести день — если у женщин еще это принято. Они были прилично, если не сказать церемонно, одеты в знакомом ему стиле и сильно накрашены, что он считал прерогативой обитателей богатых предместий. У обеих были красные накрашенные ногти и обручальные кольца. Сестры, подумал он, вряд ли невестки.

Не совсем в хороших отношениях, это видно по чуть нахмуренным бровям и возбужденному шепоту, однако славные женщины, и ясно, что они нужны друг другу. Анахронизмы, проводящие трудовой день богатых бездельников, как некогда проводила дни в «Бо Риваж» его тетушка Анна со своей дочерью, гарантией ее респектабельности. Не так-то просто нынче женщинам выглядеть респектабельно, подумал он, промакивая салфеткой губы. Теперь они, подобно Джози, работают не покладая рук и готовы защищать себя любыми средствами. И попутно делаются все грубее и самоувереннее. Ему внезапно вспомнился тот ужин в «Бо Риваж» после его скоропостижного и вольнодумного сватовства. Он никогда не рассказывал об этом Джози и не собирался, хотя ему часто хотелось с кем-нибудь поделиться. Как элегантны были в тот вечер дамы, обе в черном!.. Как он теперь сокрушался, что не остался, не дал себе второй попытки! Надо было ему послушаться этого почти невероятного порыва и остаться, просто-напросто не уезжать домой. Но не уехать, как ему казалось тогда, да и сейчас тоже, было бы противоестественно. Не уехать домой — значило исчезнуть из вида, а на это у него никогда не хватало храбрости и не

хватило бы даже ради счастья всей жизни. Это тоже была иллюзия. Здравый смысл велит нам держаться тех, кто нас знает.

Чудно, что эта поездка в Нион так и осталась в тайне от всех. Это не была постыдная тайна: напротив, она сыграла роль юношеского сумасбродства, которым можно гордиться, хотя Герц в ту пору был уже отнюдь не молод. Явная неспособность Джози понять это укрепила его в желании оставить при себе эту тайну. Две дамы в черном… это воспоминание невозможно передать словами. Да и незачем было делиться им с Джози, которая вовсе не ждала от него никаких признаний. Чем меньше он ей рассказывал, тем, казалось, меньше она хотела знать. Смерть родителей и Фредди он тоже оставил себе. Ощутив всю меру своего одиночества, Герц разыскал ее, чтобы на короткий миг добиться ее понимания. Он стыдился этого больше, чем нионского эпизода. Она откликнулась — но, как человек «положительный», принялась уговаривать его заняться самыми разными видами деятельности, которые его нисколько не вдохновляли, и чуть ли не поздравила с тем, что он наконец обрел новый статус совершенно независимого и самостоятельного мужчины.

— Теперь ты можешь пожить для себя, — сказала она так, словно это был единственный вывод, который можно было сделать из всего сказанного.

Как раз в то время он и учредил традицию приглашать ее на обед. Три-четыре раза в год. Он считал, что это обязанность, долг светского человека — оставлять открытыми пути для общения. Хотя общения, как такового, не было. Ни смерть отца, ни смерть матери не было необходимости окрашивать в траурные тона: и ему и Джози было известно, что их смерть принесла облегчение. Облегчение, которое Джози приветствовала, но Юлиус — нет. Он по-прежнему чувствовал в своих руках их тяжелеющие ладони и в переносном смысле по-прежнему стоял у их изголовья. Поэтому каждый, кто не был рядом с ним в ту минуту, был ему чужим. Его скорбь и последовавшее за ней одиночество не являлись поводом для поздравлений.

После кофе они оба помягчели, сознавая, что это несколько разочаровывающее мероприятие близится к концу. Герц чувствовал себя виноватым, как будто это из-за него обычный дружеский разговор у них не состоялся и настроение у них неважное. Он понимал, что у Джози нет причин

винить в этом себя; она вообще редко в чем-то себя винила — и совершенно правильно. Чувство вины — это не просто слабость; это заблуждение, из-за которого вся жизнь человека оказывается под сомнением. Сейчас ему уже было бы трудно найти с ней общий язык, и он поражался тому, что когда-то она приняла его таким, какой он есть, а точнее — таким, каким он ей представлялся: каким-то экзотическим, не похожим на других знакомых мужчин. Его положение изгнанника, которому она придавала больше значения, чем он сам в те дни, придавало ему романтический ореол — единственный романтический элемент, которым был наделен человек, насчет которого сам он не питал никаких иллюзий. Как же ему теперь наверстать упущенное время? Он был рад, что она не присутствовала при тех смертях, о которых, по правде сказать, она ничего не знала. Он позвонил ей сказать, что его родители умерли, и услышал в ответ лишь несколько слов ободрения, словно так и нужно реагировать на печальные известия. Он не смог бы объяснить ей, да и не пытался, каково ему было держать руку умирающей матери, знать, что конец ее уже близок, и хранить молчание, когда она шептала: «Фредди? Фредди?» А когда все было кончено, ко-

гда состоялась последняя смерть, когда он понял, что Фредди наконец навсегда ушел из его жизни, он и в самом деле почувствовал облегчение, но от этого облегчения веяло вечным покоем, словно и сам он умер. Он и сейчас продолжал чувствовать себя не как тот, кто выжил, хотя и это ощущение неизбежно присутствовало, а ассистентом смерти, с юных лет призванным присутствовать при обрядах ухода из жизни, не дающих даже малой надежды на возрождение. Вот почему он почти уже примирился со своим одиночеством, относясь к нему как к чему-то заслуженному, к чему-то родному и, более того, к чему-то такому, что уж точно его не подведет. Один он справлялся лучше, чем справился бы в обществе кого угодно.

Он уловил взгляд, который она бросила на часы, это был уже не первый, а второй или третий за время обеда, и сделал все, чтобы довести дело до конца. Он подозвал официанта, заплатил по счету и щедро прибавил на чай. Надо было расстаться на оптимистической ноте, хотя им обоим было ясно, что новая встреча вряд ли будет скоро. Он спросил, какие у нее планы на отпуск, сам понимая, что это не лучшая тема для разговора — для любого разговора. Он узнал, что они со-

бираются в Грецию, но всего на десять дней: так трудно оставлять центр на чужих людей, к тому же она не очень доверяет младшему менеджеру. Он попытался представить себе Тома, с которым они уже виделись, выставившего свою и без того багровую физиономию под греческое солнце, увидел, как непослушные волосы Джози от жары спутываются окончательно, и тут же возблагодарил бога за то, что он в центре Лондона и пока не собирается его покидать.

— Не понимаю, почему бы тебе тоже не поездить по свету, Юлиус? За магазин больше беспокоиться не надо.

Он был признателен ей за это проявление интереса, хоть и узнал в нем знакомое противоречие: она умела произносить слова ободрения, не поступаясь своей независимостью и даже еще больше отделяясь. Не рассказывай мне, как ты одинок, — вот что означала эта реплика. Нет никакой необходимости быть одиноким! Можно подобрать какой-нибудь тур, даже отправиться в круиз! Ей не пришлось говорить эти слова вслух, коль скоро она уже произносила их раньше, но по воинственному блеску ее глаз он видел, что в случае необходимости она их повторит.

— А я уже поездил, — мягко ответил он. — И на-

шел в этом удовольствие, хотя и не такое, как ты. Я, например, ни разу в жизни не сидел на пляже.

— Да уж, это не твое. Что же ты делал?

— Я ездил по городам. Поначалу я побывал в самых прославленных: Венеция, Рим. Но там мне было как-то одиноко. Потом я понял, что мне не нужно ездить в такие места, что мне гораздо лучше в маленьких городках, ничего собой не представляющих. И я выбирал какой-нибудь такой городишко и бродил по нему в свое удовольствие. В основном во Франции. Я вполне уютно себя чувствовал, если, прогулявшись возле церкви, мог посидеть за чашечкой кофе и почитать местную газету, прислушиваясь к чужим разговорам.

— Похоже, тебе было весело.

— О, тебе бы это быстро осточертело. Но мне было хорошо. И там, куда я ездил, есть свое очарование, хотя и не такое, какое увидела бы ты.

— А ты не думал о том, чтобы жить за границей?

Он улыбнулся ей:

— Я и так чувствую себя за границей. Лондон для меня все еще чужой, хоть я живу здесь с четырнадцати лет. Все равно здесь я не чувствую себя дома. А теперь я уже никуда и не езжу.

— Ну и зря. Ты так совсем зациклишься на себе. — Она помолчала. — Как я понимаю, ты один живешь?

Он снова улыбнулся:

— Само собой, я живу один. Я уже стар. Кому я теперь нужен?

Она взяла сумку, но напоследок еще раз попыталась его ободрить.

— Ты был видным мужчиной, — сказала она. — Ты и сейчас можешь нравиться женщинам.

— Не так уж я страдаю без женского общества.

— Полагаю, тебе хватило меня? — Тон ее был насмешливым, но за ним сквозила тоска.

— Мне тебя хватало. Я с тобой был счастлив. Жаль только, что ты не была со мной счастлива.

— Так уж все сложилось. Твои родители, эта смешная старушка, которая приходила по субботам и никогда не снимала шляпку. Мне это в конце концов осточертело. Да и это бы все ничего, если бы не Эджвер-роуд. — Она передернула плечами. — Не знаю, как ты там мог жить.

— Мне приходилось там жить. Теперь я рад, что ты сама построила свою жизнь, что ты нашла человека, который может свозить тебя отдохнуть… Я управляюсь. Мне не на что жаловаться. Не беспокойся обо мне, Джози.

Он взял ее руку, радуясь, что этот короткий разговор разогнал тучи между ними. Но теперь он устал, и она наверняка устала, хотя у нее усталость должна смешиваться с чувством облегчения, что он не стал ее упрекать. Хотя Джози готова была отстаивать правоту своего решения развестись, она нисколько не стремилась касаться этого вопроса. Тем самым проявляется ее запоздалая зрелость, подумал он, хотя для Джози это и не очень хорошо. По своему опыту он знал, что зрелость приносит невеселые открытия. Лучше уж беспечность молодости, когда мир еще не показал себя с худшей стороны. Улыбка его потухла. Он пожал жене руку. В конце концов, они еще не совсем разочаровали друг друга. К тому же пора было идти, пока это шаткое равновесие не нарушили другие воспоминания. Он нарочно взглянул на соседний столик, где две женщины в черном, что привлекли его внимание, яростно о чем-то спорили. Джози проследила за его взглядом, потом кивнула ему.

— Да, день у них будет испорчен, — сказал он, провожая ее на улицу. — А ведь они так тщательно все спланировали. Одной прогулка понравилась, а другой, очевидно, нет. Думаю, на этом их гуляние закончится, и они отправятся

домой в Уэйбридж. А, ты на машине. Где, говоришь, она?

— На стоянке. Не провожай меня. Я знаю, что тебе это место не нравится.

— Как знаешь. Я всегда боюсь, что меня запрут.

— До свидания, Юлиус. Спасибо за вкусный обед. Звони.

— Да, созвонимся. Приятно было тебя видеть. Да, и хорошего тебе отпуска!

Он смотрел, как она уходит, и с грустью отметил, что она раздалась в плечах и слегка сутулится. Потом с усилием распрямил неподатливые плечи. Вот и состарились; все прошло. Она бы сказала, что это пораженческие настроения, что по сравнению с другими он везунчик. Он и сам это знал, да что толку. Его внутреннее равновесие покоилось на таком хлипком основании, что лишние мысли могли его подкосить. А сейчас он просто устал и хотел лишь оказаться дома, где никто, кроме него самого, не увидит его слабости.

Герц решил дойти до Чилтерн-стрит пешком; он знал, что это безрассудство, и все же хотел себя испытать. Он постоял минутку в нерешительности. День был ясный, ветреный, но солнце мягко пригревало. Герц тронулся в путь по

Сент-Мартинз-лейн, инстинктивно повернул на Сесил-Корт, чтобы посмотреть книги у букиниста и несколько минут отдохнуть вдали от толп. Он совсем отвык от общества, вот в чем проблема, ему было трудно среди разговора и деятельности. Даже ресторанные удовольствия утомили его, даже общество Джози, хотя он порадовался, что она снова проявила себя милой девочкой, в которой, правда, с трудом уже можно было узнать медсестру со свежим личиком, присутствия которой ему когда-то так хотелось, причем захотелось сразу же, с того первого вечера в кафе, как только он ее рассмотрел. Но именно таким и должно было оказаться продолжение, подумалось ему: встречи в кафе иногда по вечерам, как будто они актеры в каком-то черно-белом фильме, лучше всего французском. Таким образом они вносили элемент романа в свое случайное соединение. Он понял, что был чересчур увлечен тем, как бы довести отношения до логического завершения, чтобы задуматься над вопросом, чего хочет женщина. Кроме того, его знание женщин было настолько поверхностным, что относилось к царству абстрактных понятий. Насколько он знал, женщины делились на две категории: одни, подобно Фанни Бауэр, созданы мучить, а другие,

подобно Джози, созданы давать укрытие от этих мучений. Теперь он видел, что был несправедлив к ним обеим. Копни поглубже — по сути, они похожи. Обе приспособленки (в хорошем смысле этого слова), способные и желающие обратить обстоятельства к собственной выгоде, пусть даже самым традиционным способом — посредством замужества. Весьма вероятно, что он подвел их обеих, не снабдив Джози недостающим элементом романа и не став менее романтичным, менее порывистым и более основательным в подходе к Фанни. Он очень не вовремя стал играть роль пылкого любовника, а нужно было превратиться в трезвомыслящего гражданина. Что касается Джози, то она видела свою выгоду в твердых перспективах: респектабельная семья, в которую вскоре ей предстояло войти, буржуазный уют квартиры, которая, как вскоре выяснилось, была всего лишь временным пристанищем. И никакой роман, пожалуй, не смог бы выдержать Эджвер-роуд и тесную квартирку, с трудом пригодную для одной супружеской пары, а что уж говорить о двух. Напряжение сказалось так быстро, что ее решение о разводе он встретил почти с облегчением. А Фанни к тому времени уже превратилась в мираж. Странное дело: он все

еще видел ее девушкой, словно прошедшие годы были нематериальны.

Он подумал: не свернуть ли обратно на Сент-Мартинз-лейн? Можно было бы заглянуть в Национальную галерею, постоять с полчасика перед полотнами Клода Лоррена или Тёрнера.[3] Время от времени он так и делал, позволял себе отдаться удовольствию, которое переживет все прочие, но знал при этом, что искусству безразличны любые требования, которые он мог предъявить. У него все не шло из головы, с каким презрением Фредди относился к своему былому призванию, и хуже того — его хвастливая небрежность, его отречение словно утверждали, что искусство оказалось чем-то ложным, что лучше быть вандалом с детской площадки, хулиганом, чем страдающим эстетом, которым он был в прежней жизни. Герц надеялся, что нет никакой реальной необходимости выбирать между этими двумя крайностями, но полагал, что она может существовать. Знаменательно, что после встречи с Джози он чувствовал потребность в чем-то бесплотном, словно первое свидетель-

[3] Примечания: 3

Клод Лоррен (1600–1682) — французский художник, представитель классицизма; Уильям Тёрнер (1775–1851) — английский живописец, мастер романтического пейзажа.

ствовало о потребности во втором. И все же после получасового отдыха он начинал замечать звук собственных шагов и жаждал общества в самом простом смысле. Вид детей, сидящих на полу по-турецки и слушающих пояснения экскурсовода, всегда вызывал у него желание присоединиться к ним, но лишь на минуту. Все-таки в нынешней обстановке, как ни печально, взрослый мужчина, приближающийся к группе детей, не может не вызвать подозрений, даже если этот мужчина настолько стар, что, казалось бы, выше подозрений. К сожалению, никто в наши дни не может быть выше подозрений. Благоразумие требовало, чтобы люди вели себя с предельной осмотрительностью, будто все провинности и безумства, накопившиеся за целую жизнь, могут внезапно быть выставлены на всеобщее обозрение. Разве можно такое пережить?

В итоге, поколебавшись, он решил в Национальную галерею не заходить. Свои любимые картины он прибережет на другой день, лучший или худший, теперь это едва ли имеет значение. А сейчас он отправится домой, но не пешком. Он заметил, что поступь его становится нетвердой. Кстати, в значительной мере поэтому он и перестал путешествовать. Он боялся упасть на улице

в чужестранном городе, представлял себе, как он лежит на тротуаре, окруженный незнакомыми лицами. Такого с ним никогда не случалось, но он начал бояться дня, когда это может случиться. Безопаснее всего ему теперь сидеть дома, дом стал его последним убежищем. В такси он решил, что вечером позвонит Джози, чтобы поблагодарить за сегодняшний обед и еще раз пожелать ей приятного отпуска. Это будет верная финальная нота, подумал он, но тут же в панике спросил себя: почему же это финальная? Ничего еще не кончается. Через несколько месяцев они снова встретятся и будут рады друг другу. Это было лучшее, что можно сделать в ситуации, в которой они оказались. В каком-то смысле это было лучшее, что он мог сделать для них обоих.

5

К тому времени как Герц добрался до Чилтерн-стрит, солнце зашло за тучи и ветер посвежел, предвещая унылый вечер. Герц вставил ключ в замок и немного постоял в маленькой прихожей, испытывая, как обычно, и облегчение, и разочарование вместе. Он все не мог привыкнуть к тишине, встретившей его, хотя и жаждал этой тишины много раз за этот день, который его здорово утомил. Он медленно вошел в кухню и налил полный чайник, после чего, оставив мысль о том, чтобы заварить чаю, так же медленно переместился в гостиную и с облегчением устроился в кресле. Приключения вроде этого обеда с Джози теперь приносили одни разочарования, и все же беседа с нею приятно заполнила день. Но беседа закончилась. Он огляделся по сторонам, как будто впервые увидел свою квартиру, и неожиданно осознал, до чего же она смахивает на тюрьму. Она была слишком маленькая; но, пожалуй, маленькая квартирка идеально подходит для того, кто живет один. В этот холодный майский вечер она приобрела размеры камеры, установленной по

велению какой-то неведомой власти как лучшее соответствие образу жизни, в котором больше не предусмотрено чье-либо общество. Он считал, что покупка этой квартиры была самым хорошим событием в его жизни, и подивился тому, почему в такие минуты, как теперь, в конце дня, его это больше не радует. Она свою задачу выполнила: все, что ему оставалось, это вкушать ее скромные прелести и думать, как всегда в таких случаях, что глупо было бы ожидать, будто одни лишь жилищные условия отвечают за степень удовлетворенности, которую могут установить только люди.

И все же квартиру он любил. Ее появление он приписывал исключительно чуду. Герц, как вчера, помнил те события, в результате которых он стал ее хозяином. И на этот раз все произошло опять-таки благодаря Островскому, как будто он почему-то был избран устроителем их судеб. Однажды Островский, как обычно одновременно респектабельный и потрепанный на вид, зашел к нему в магазин в наброшенном на плечи огромном пальто, поигрывая одной из своих многочисленных связок ключей. Даже зимой он был сильно загорелым. Герц приветствовал его с обычным почтением. Островский, в этот

ничего не предвещающий момент, все еще был его работодателем и, если такие обязательства могли быть ему приписаны, его патроном.

— Сделай кофе, Юлиус. Мне надо с тобой поговорить.

Он сделал, как ему велели, готовясь выслушать обычные резкие замечания о жесткости экономического климата и безобразиях на рынке недвижимости, к которому Островский имел таинственное отношение. По слухам, он владел несколькими магазинами в разных частях Лондона, покупал их и продавал, как бог на душу положит, и постоянно выискивал обанкротившиеся или переезжающие предприятия, вести о которых собирал, обходя свои владения, попивая с друзьями кофе в своих любимых забегаловках или играя в карты в тех странных клубах, где это занятие служит заменой ежедневной работе. Герц не знал о нем ничего конкретного, предполагал, что он по-прежнему живет на Хиллтоп-роуд, видел, что с годами Островский кажется все более жалким, что он уже не тот дерзкий предприниматель, жаждущий захватить место на рынке. Он распоряжался значительными средствами, это было очевидно, но все же его доходы были иллюзорны и с большой долей вероятности мог-

ли в одночасье исчезнуть. Он, казалось, никогда не спешил, но взгляд у него был цепкий, настороженный. Казалось, он в любую секунду может исчезнуть, уехать из города, словно у него земля горит под ногами. Однако же Герц ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь на него пожаловался или обвинил в незаконных сделках. Он вел себя как средний финансист, но с намеком на бедное происхождение. О его делах толком никто не знал. Известно было, что он действовал в одиночку, поднимая на ноги всякие шаткие предприятия, на которые у него был нюх. Он был неизбежной опорой их жизни, и хотя ни мать, ни отец Герца Островского не любили, они были вынуждены ему доверять. Это всегда доставляло им массу неудобств: они подозревали его во всевозможных махинациях, которые могли довести его до тюрьмы, но, если верить его якобы подмоченной репутации, пока еще не доводили.

Это было то унылое время после смертей, после развода, после Ниона, когда дни Герца заполнял магазин, и за это он был, в общем-то, ему признателен. Однообразие этих дней стало компенсацией за боль последних лет. Каждое утро Герц выходил из квартиры и спускался по лестнице, чтобы открыть магазин; каждую

пятницу он отвозил недельную выручку в банк. Однако магазин уже не был той скромной лавочкой, с которой так долго возился его отец: он стал посещаемым, почти процветающим. Герц собирался заботиться о нем до тех пор, пока Островский будет им доволен. Он не думал о том, чтобы стать хозяином магазина, но принимал его существование как факт жизни, своей жизни. Он подал Островскому кофе и приготовился слушать обычные ностальгические воспоминания о тех вечерах на Хиллтоп-роуд, когда он почти усердно навещал их — почти усердно, потому что настолько искусно скрывал свои истинные цели, что они так и не узнали, питал ли он к ним какие-нибудь чувства или был, как подозревал Герц, просто одинок.

— Я перехожу прямо к сути, — сказал Островский. — Не буду томить тебя неопределенностью. Суть в том, что я продал бизнес. Точнее говоря, весь магазин. Получил очень хорошее предложение и принял его.

— Но почему? Мы ведь процветали. Во всяком случае, так мне казалось.

— Совершенно верно, ты сотворил чудо с этой лавочкой. Нет, это совершенно никак с тобой не связано. — Он сбросил пальто. — Посмотри на

меня, Юлиус. Как по-твоему, сколько мне лет?

— Понятия не имею.

— Восемьдесят один. — Он ждал возражений, но, когда их не последовало, непривычно помрачнел. — Я завязываю, — понуро сказал он. — С меня довольно. Все эти годы я все крутился и финтил, но никогда не был счастлив. Я все не мог понять: почему? И теперь я знаю. Я нездоров, Юлиус. — Он осторожно похлопал себя пониже ребер. — Пытался не обращать внимания, как это водится, но теперь уже сомнений нет. Я доживаю последнее. Очередное важное дело.

— Очередное важное дело? — эхом отозвался Юлиус.

Островский его не слушал.

— Как ты знаешь, у меня есть дом в Испании. В Марбелье. Чем торчать в этом гиблом климате, я лучше доживу свое на солнышке. Я завязываю со всеми делами и ликвидирую все активы. Так что ты будешь теперь самостоятельным, милый мальчик, свободным, впервые в жизни. Ты был хорошим сыном, я всегда это знал, даже слишком хорошим, пожалуй. Жаль, что твой брак распался, но ведь все в жизни связано, верно? Теперь у тебя появится шанс стать самостоятельным человеком. Я об этом позаботился.

— Вы хотите сказать, что дадите мне рекомендации, — проговорил Герц старательно-нейтральным тоном.

— Я хочу сказать, что я дам тебе столько, сколько заплатил за этот магазин изначально. Конечно, с тех пор цены поднялись. Это я тоже учел. — Он назвал сумму, которая показалась Герцу нереальной. — Можешь подыскать себе собственную квартиру. Возьми отсюда что захочешь, хотя вряд ли что-то тебе понадобится. По правде говоря, меня всегда немного мучила совесть из-за тебя. Все ведь больше любили твоего брата, не так ли? Что ж, теперь ты можешь наверстать упущенное.

— Я не могу это принять. Такие деньги.

— Можешь и примешь. На них можно купить небольшую, но удобную квартирку. И еще останется. Если распорядишься деньгами с умом, тебе их хватит до конца жизни. Мой племянник поможет тебе их грамотно вложить. Его зовут Саймондс, Бернард Саймондс. Он маклер, кристально честный парень, хотя и чертовски неинтересный. Он будет твоим поверенным. Я с ним свяжусь в ближайшее время. Ему, кстати, достанется квартира на Хиллтоп-роуд.

— Я не могу взять эти деньги, — повторил Герц.

— Все совершенно законно, если тебя это беспокоит. И почему бы не взять их сейчас, вместо того чтобы ждать, пока я умру? — Он поморщился. — Зачем ждать? — сказал он. — У Саймондса была такая же реакция, ему не пришло в голову, что я могу совершить честный поступок. Но я всегда хотел поступать честно. Времена были не те: только это мне и мешало. Я должен был пробиваться зубами и когтями, и не скажу, что мне это было совершенно не по нраву. Только это кончается плохо, Юлиус, помни. Кончается тем, что ты смотришь — а ты уже вполовину меньше, чем был, и поделать ничего нельзя. Пожалуй, в Марбелье мне полегчает, насколько это возможно. На солнце можно меньше думать. И я хочу избавиться от прошлого, жить только настоящим, или тем, что от него осталось.

— Вы вправду так решили? Вам будет одиноко.

— Конечно, я буду одинок. Но есть одиночество, которое так или иначе приходит с возрастом. И с ним ничего нельзя поделать. А там есть своего рода клуб, все из Ирландии, все уже на ладан дышат, но очень неплохо. Это будет похоже на возвращение в школу. Забавно! — Он издал резкий смешок. — Словом, ты теперь в курсе. У тебя есть приблизительно месяц на обустройство.

Новый владелец избавится от товара: я дал ему несколько телефончиков. Вроде бы хочет открыть салон-парикмахерскую. Я не стал выяснять его планы. Вообще-то мне все равно. Меня сейчас интересует только место на солнышке на тот срок, что мне остался. Как я уже говорил, возьми отсюда все, что захочешь. Эти два кресла очень неплохие. И вон тот маленький столик. Он принадлежал моей матери. — Глаза его наполнились слезами. — Не огорчай меня, Юлиус. Сделай, как я хочу. Тогда все это будет не зря.

— Не знаю, как вас благодарить, — с удивлением сказал Герц.

— Не стоит. Я ведь не могу забрать все это с собой, верно? — Он вытер глаза. — Наверное, это наша последняя встреча. Если тебе что-нибудь понадобится, обращайся к Саймондсу. Теперь поймай такси, будь другом. Надо еще вещи собрать.

На улице он казался болезненным и слабым, не похожим на себя. Изменение шло уже полным ходом. «Хиллтоп-роуд», — хором сказали они водителю такси. После этого им показалось естественным обняться, чего они никогда не делали в прежние дни, и естественно было, что Юлиус стоял и махал вслед машине, пока она не

скрылась из виду.

Неожиданность заявления Островского, казалось, не оставляла возможности для ответа. Юлиус прошел к своей конторке и тщательно просмотрел счета и фактуры, содержание которых он знал наизусть. Но напрасно: он смотрел на них и ничего не соображал. Его рабочая жизнь, казалось, закончилась. Вот уж чего никак не ожидал, признался он себе. Впрочем, он вообще ничего не ожидал, а получил свободу, свободу, к которой он был нисколько не готов. Да еще и неплохой капитал, хотя нужно будет уточнить у Саймондса, насколько законна эта дарственная. Он схватил телефон и набрал знакомый номер на Хиллтоп-роуд. Никто не отвечал. Следующее, что нужно было сделать — это узнать адрес офиса Саймондса и договориться о встрече. После этого придется искать новое жилье. Все это сулило множество трудностей: ему еще ни разу не доводилось осуществлять свои пожелания в этом отношении. Что в Берлине, что на Хиллтоп-роуд и на Эджвер-роуд — все его дома за него выбирали другие. А дом — это такое волнующее понятие, что он сомневался, сможет ли он ему соответствовать, найти для себя место в мире, где люди осуществляют выбор. Повинуясь импуль-

су, он повесил на дверь табличку «ЗАКРЫТО» и пошел в квартиру. Он начал привыкать к этому, отстраненно, почти философски: он не смотрел этому конкретному дареному коню в зубы, хотя с ним были связаны неприятные перемены. Островский сказал: возьми что захочешь, но ему не хотелось брать ничего. Он заметил запущенность, на которую, возможно, в другой ситуации не обратил бы внимания. Обои выцвели, окна давно следовало помыть. Он бы взял оба кресла и столик, принадлежавший матери Островского, скорее ради Островского, чем ради себя. В этом была бы некая преемственность. Остальное придется покупать. Мысль о новой кровати, на которой еще никто до него не спал, наполнила его робким удовольствием. Островский говорил, что у него приблизительно месяц. За это время надо будет найти где жить. Еще труднее то, что придется заводить новые привычки, решать, как провести оставшуюся часть жизни. В конце концов, он был в том возрасте, когда большинство мужчин выходит на пенсию, и наверняка все они сталкивались с той же самой пугающей перспективой. Столько свободного времени! Чем же его заполнить?

В восемь часов вечера он снова позвонил на

Хиллтоп-роуд, и ему ответил Бернард Саймондс. Так что он существовал на самом деле; добрый знак. И Саймондс его обнадежил. Насчет денег можно не сомневаться: они подарены ему законным образом, и есть документы, которые это подтверждают.

— Невероятная щедрость, вы правы, и почти неслыханная в наши дни. Но он богаче, чем мы могли предполагать. Тут можно говорить о больших деньгах. Я знаю, знаю: к этому надо привыкнуть. На вашем месте я подыскал бы недвижимость, пока цены опять не подскочили. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам понадобится совет. Мы с вами в одной лодке, вы же знаете. Я платил арендную плату за эту квартиру; теперь я ее владелец. Невероятно.

— Где деньги? — не забыл беспомощно спросить Герц и еще несколько дней потом при воспоминании об этом краснел до ушей.

— В вашем банке. Вся сумма там, не беспокойтесь. Теперь вы захотите их правильно вложить. Между нами, я думаю, вам лучше поторопиться. На Эджвер-роуд будет не слишком-то удобно. Новый хозяин и все такое прочее.

— Но как же магазин? Счета? Товар?

— Этот новый парень нанял целую бухгалтер-

скую контору. Ликвидаторов, по всей видимости. Но все совершенно законно и честно. Фактически вы свободно можете уехать.

Но он не чувствовал себя свободным. Он чувствовал себя лишенным. Когда стемнело и в маленькой гостиной, которая была его домом, сгустились тени, он почувствовал себя лишенным неотъемлемого права — права работать. Он чувствовал себя осиротевшим, и ему очень не хватало семьи, воображаемой семьи, больше похожей на аудиторию, состоящую из людей, которые приветствуют и одобряют все его действия. У него никогда не было таких людей, и отчасти он знал, что это фантазия, оставшаяся с юности или со времен еще более далекого прошлого, с детства. Он лег спать, но спал прерывисто, без снов, хотя бы даже и неприятных. Он встал, когда еще не было пяти, мечтая скорее выйти из дома, выйти на свежий воздух. Он позавтракал в ночном кафе на углу, затем попытался выработать план действий. В утреннем свете знакомая улица выглядела странно, необитаемо, хотя какие-то неявные признаки жизнедеятельности все же были: владельцы магазинов открывали двери, чтобы разложить товары. У кофе был вкус прощания; у Герца не было аппетита. Когда солнце

медленно озарило день, который обещал быть чудесным, он заплатил, обменялся несколькими ничего не значащими фразами с хозяином кафе и вернулся в тот дом, который больше не был его домом. Подняв взгляд от тротуара, который он уже достаточно изучил, Герц с болью отметил, что у магазина припаркован фургон, что дверь уже открыта и что внутри суетятся какие-то люди, и один из них явно роется в его конторке.

— Доброе утро, — сказал добродушный мужчина, по всей видимости главный из них. — Мы решили начать пораньше. Не обращайте на нас внимания. Боюсь, вам больше не придется торговать. Мы собираемся закончить к вечеру. Но нам бы хотелось принять у вас помещение, скажем, через десять дней. Таким образом, у вас есть время уладить свои дела, если вы еще не успели этого сделать. Теперь, с вашего разрешения… — Он торопливо повернулся к своим людям. Разговор был окончен.

Герц снова вышел, снова выпил кофе и подождал, пока откроется дверь ближайшего агента по недвижимости. Девушка, по-видимому секретарша, была еще в пальто и собиралась, кажется, выпить чаю. Герц не стал церемониться.

— Мне нужна квартира, — коротко сказал он,

еще короче, чем произносил это мысленно. — Две комнаты, кухня и ванная. Независимое центральное отопление. Балкон. Как можно скорее. А точнее, сегодня.

Она посмотрела на него с удивлением.

— Вы спешите, — отметила она. — Чаю? Я без него просто не могу. Присаживайтесь.

Он уселся. За окнами был уже вполне оперившийся день, молодые люди с портфелями шагали по улице с целеустремленным видом. Он больше не был таким, как они, да и никогда он таким не был. Он брал лишь то, что ему предлагалось другими, и так будет всегда. Этот акт покупки квартиры казался ему чудовищным отклонением, но другие люди, возможно, делают это каждый божий день. Покупать и продавать, получать и тратить — таково веление времени.

— Меня зовут Мелани, — сказала девушка. — Вот моя визитка. Я могу показать вам два места сегодня утром, если вы свободны. Одна квартира на Кларенс-Корт, вторая на Чилтерн-стрит. Обе практически в центре, обе в хорошем состоянии.

— Кларенс-Корт звучит как-то слишком изящно, — сказал Герц, справившись с волнением. — Это не для меня. Я бы посмотрел Чилтерн-стрит, если не возражаете.

— Разумеется. Прекрасная квартира. Последний хозяин много над ней потрудился.

— Почему он съехал?

— Она. Получила работу в Штатах и уезжала спешно. Это было всего несколько недель назад. Продажей занимаемся мы: она оставила все на нас. Так что, если вам там понравится, никаких проволочек не будет. Ну что, пойдемте?

Как только он увидел квартиру, все его сомнения рассеялись. Она находилась на третьем этаже здания, которое поддерживалось в хорошем состоянии. Первый этаж занимало ателье, второй — судя по всему, мастерская, из которой доносился гул голосов. Сама квартира была, пожалуй, маловата, но светлая и тихая. Кто-то, то есть, несомненно, прежняя владелица, положил в ней паркет и обставил крохотную кухню. Окна выходили на Чилтерн-стрит и на маленький дворик позади дома; выглянув в окно, он увидел двух девушек, расположившихся внизу с кофейными чашками. Это создавало видимость компании, которой ему так не хватало. Оставалось немного места для дополнительной мебели: ему нужны были только кровать да еще, пожалуй, пара стульев. Кровать была первой на очереди, остальное могло подождать.

— Она мне подходит, — просто сказал он.

— Отлично. Давайте мы вернемся в офис, мой босс уже должен быть там. Я вам называла срок аренды?

— Какой срок аренды?

— Боюсь, довольно маленький. Восемь лет.

Он прикинул. Если повезет, он умрет прежде, чем истечет срок договора.

— Я беру ее, — сказал он с таким видом окончательной уверенности, что убедил их обоих.

Герц нанял фургон, упаковал свою одежду и приготовился переезжать, хотя фактически отъезд мог занять некоторое время. Эджвер-роуд теперь была в прошлом. Он слышал, как внизу, в магазине, ходят люди, но он больше о них не думал. Он торопился уйти. Если понадобится, он готов был ночевать в кресле, пока не появится кровать. Все произошло гораздо стремительнее, чем он ожидал, словно в волшебном сне. Половина следующего дня ушла на приобретения, от которых он остро почувствовал себя собственником. «Все необходимое в домашнем хозяйстве», — прочел на входе в один из отделов большого магазина на Оксфорд-стрит. Он был хозяином! Он имел право на необходимое! Те же чувства он испытал в универсаме, где долгие

годы отоваривался с безразличием маленького человека. «Традиционный дневной чай» и «Кофе для завтрака» убедили его, что он стал наконец частью общества, с завтраком и чаем по всем правилам. Без раскаяния вернулся он на Эджвер-роуд, собрал все постельное белье, полотенца и чашки и запихал в пластиковые пакеты. Бросив последний взгляд на свое бывшее жилье, он положил ключи на опустевший стол и в нетерпении вышел на обочину ловить такси. На новой квартире он распахнул окна и оглядел Чилтерн-стрит, которая показалась ему отрадно благопристойной после шумной Эджвер-роуд. Вновь до него донеслись звуки из патио, которое, вероятно, было оборудовано для удобства портних. Их разговор, на каком-то незнакомом языке, был единственным признаком того, что он не совсем один.

К концу недели столик матери Островского и два кресла украшали собой залитую солнечным светом гостиную. Окрыленный успехом, Герц пошел в магазин Джона Льюиса и купил еще два стула, телевизор, прикроватную тумбу и три лампы. Дома, как он теперь воспринимал это место, он застелил кровать, которую он забрал с витрины, и развесил свою одежду в маленьком

встроенном шкафу. По его разумению, больше ему ничего не было нужно. Герц был почти разочарован, что процесс завершился так быстро. Он позвонил Бернарду Саймондсу, чтобы дать свой новый адрес, не дозвонился и сел писать ему письмо. Это навело его на мысль, что надо бы приобрести письменный стол. Возникла отсрочка. Счастливый, он на следующий день вновь отправился в магазин. И вновь ему повезло. Очевидно, при наличии денег и времени все достижимо. Он словно бы попал в новое измерение, о котором прежде не подозревал, а если подозревал, то не имел к нему доступа. Теперь все изменилось: опять же узаконенное право. Прошло время считаться с чужими правами. Он подумал об Островском, обещал себе, что будет ему писать. После этого он зачеркнул свое прошлое, поражаясь, как легко это было сделать, и недоумевая, почему прошлое так долго держало его в кулаке. В своей эйфории он чувствовал себя заново родившимся, ожидал, непонятно откуда, новых друзей. Ландшафт он уже освоил. Осталось лишь сделать следующий шаг. Что это будет за шаг, он понятия не имел, но был уверен, что это выяснится само собой.

Но меланхолию, коль скоро ты дал ей при-

ют, не так-то легко выставить за дверь. Спустя несколько месяцев, пообедав с Бернардом Саймондсом и обменявшись приветствиями с миссис Беддингтон, владелицей ателье, застенчиво поулыбавшись портнихам, что каждый раз вызывало только смешки, он снова оказался в лапах снов и воспоминаний, словно лишь они могли снабжать его сведениями. Не то чтобы он скучал по своим прежним рутинным обязанностям, но он жалел, что ему совсем нечего делать. Дни его состояли из искусственных вылазок на улицу: газета и универсам утром и книжный магазин или музей днем. Он говорил себе, что это удел многих, но ему было жаль этих многих; он мечтательно думал о семье, об идеальной семье, о садике, которым можно было бы заниматься, и о внуках, которых можно пестовать. Даже полотна Клода Лоррена и Тернера, столь любимые им, уже не выручали его; они вызывали в душе лишь слабые воспоминания. Все это странным образом напомнило ему падение Фредди, и, кроме того, апатию родителей, которых он теперь любил и жалел в равной мере. Он жил отшельником, думая, что так именно он должен жить, как будто ему это было уготовано судьбой. Чем дальше, тем меньше казалось отведенное ему будущее,

тем труднее было воспринимать непрерывность как нечто само собой разумеющееся. Он пересмотрел свои ожидания и постановил себе жить нелегким настоящим. Прошлое обрело новый блеск, в одночасье став драгоценным. Он радовался любой мелочи, которую подбрасывала ему память, наполовину сознавая, что теперь он вовлечен в процесс, который ограничен временем, и все меньше, с течением дней, придавал этому значение.

6

Обычай требовал, чтобы Герц взял отпуск. По крайней мере он полагал, что это так, поскольку обрывки разговоров в универсаме и кафе, где он повадился пить утренний кофе, открыли ему неизвестный мир вилл, квартир, *прощелыг,* теплоходов и отдыхающих и доказали, что город пустеет — это он и сам заметил во время своих скромных прогулок. Даже миссис Беддингтон, владелица ателье, пришла сказать ему, что едет вместе с сестрой и ее мужем на юг Франции, и предупредить о сигнализации, за которую он теперь вроде как был ответственным. Болтовни в мастерской стало меньше, и Герц предположил, что многие девушки разъехалась по домам — какие это дома, ему трудно было даже представить. Сам он чувствовал себя изолированным посреди всех этих планов, выношенных за холодную зиму и еще более холодную весну. Без отпуска, казалось ему, у него не было ни иностранной валюты, ни дорожных историй, ни смешных происшествий, ни загара — ничего, что можно было бы предъявить обычному кругу случайных

знакомых, и оставалось лишь спрашивать других об их планах. Эти планы казались ему изнурительными, хотя и служили тому, чтобы на целый год вперед разжечь в человеке активность и целеустремленность. Поскольку он не мог предъявить взамен собственных планов, он решил, что от него та польза, что он внимательный слушатель. Со своей верной улыбкой он играл эту роль, но она его начинала утомлять.

Его прошлый отпуск едва ли годился на то, чтобы упоминать о нем в разговоре. Те тихие дни в маленьких городках, или даже в предместьях на конечных остановках автобусов, не приносили интересных анекдотов. В Амбуазе он подслушал, как большая семья обсуждала завещание какого-то родственника; в Отейле спокойно посочувствовал пожилому мужчине, направлявшемуся к врачу, но Герц был лишь наблюдателем всего этого, не участником, а что за отпуск без пылкого участия? И с недавних пор, когда что-то требовало больших перемен, он вспоминал о своей недолговечности: видение, где он лежал на земле, окруженный внимательными лицами, тут же возникало перед ним, и отогнать его уже не удавалось. Герц цеплялся за повседневные дела, хотя они ему надоели, и дни

казались ему длинными. Но при этом он не ценил того, что другим могло бы показаться в общем-то завидным досугом. В его распоряжении было слишком много времени, и часто он стоял у окна, высматривая какие-нибудь признаки жизни на Чилтерн-стрит. У него не было аппетита, спать днем он пробовал, но тоже без особого успеха. Такая краткая дремота лишь возвращала прошлое, так что, когда он пробуждался с привкусом затхлости во рту, его цепляние за настоящее казалось ему ненужным ограничением, и решимость его слабела. Но все же этим долгим тихим дням было трудно не уступить, и хотя прикованность к сегодняшнему дню была опрометчивой, казалось, она уже стала привычкой, которая привилась сама собой. И если он так легко соскальзывает в сон в солнечные дни лета, как же он будет жить зимой, когда темнота приходит рано и внешний мир отступает перед ней?

Чтобы противостоять этому слишком символичному спуску в теневой край своего разума, он взялся гулять по вечерам, чтобы утомить себя и сделать отдых более оправданным, более простительным. После ужина (вряд ли это можно было назвать обедом) он выходил на Чилтерн-стрит и начинал хаотично блуждать по ближайшим

окрестностям, надеясь поймать ветер жизни в свои паруса и создать себе образ этакого старого джентльмена, который мог бы понравиться окружающим. Но у него не было зрителей, только молодые люди в кафе пили пиво и смеялись или большими компаниями дружно поглощали пиццу. Никто не проявлял к нему ни малейшего интереса, когда он поднимался по Глостер-Плейс и спускался по Бейкер-стрит или даже добредал до Оксфорд-Серкус, в тщетной надежде найти городское общество. Его притягивал парк, но это было слишком далеко от дома, и он боялся, что его застигнут сумерки. Кроме того, он не знал наверняка, когда закрываются ворота парка, и со страхом представлял себе, что может оказаться взаперти и тогда придется провести ночь на скамейке, волосы растреплются, и он ничем не будет отличаться от обычного бродяги.

Эти вечерние прогулки его изнуряли и удовольствия не приносили. По этой ли причине или по какой-то еще он стал предпринимать более отдаленные экскурсии, хоть они и казались бессмысленными, не предвещая общения. Он совершенно изнемог от того, что приходилось постоянно терпеть одиночество, и все же знал, что при его характере уединенный образ жизни был

единственно возможным. Он мог бы, набравшись немного храбрости, снова поехать за границу и сидеть иногда в странной немодной церкви или открыть для себя верхний этаж, обычно пустынный, практически заброшенного музея, и если бы он это сделал, как делал уже неоднократно, то несомненно получил бы некоторое удовлетворение от полученного опыта. Но тогда пришлось бы возвращаться в маленькую гостиницу, где суровая хозяйка вручит ему ключ без малейшей приветливости, по которой он истосковался, не станет расспрашивать его, как он провел день или куда собирается вечером, и он просто вынужден будет выйти снова, искать место, где можно поесть, будет сидеть за столиком в одиночестве и снова наблюдать за другими людьми. И каждый раз в потоке прохожих будет улавливать обрывки разговора, которые его заинтригуют, пробудят желание узнать больше, даже расспросить тех прохожих, которые на мгновение его отвлекли; тогда можно пережить еще не знакомую реакцию — раздражение? гнев? — из-за собственной неспособности участвовать в жизни, а скорее досаду, вызванную толстокожестью других, всех тех, кто озабочен своими собственными делами и не желает знать о его планах, предпочтениях

и вкусах.

Честно говоря, по-настоящему он наслаждался лишь одним отпуском в своей жизни, и было это в восьмилетием возрасте. У него даже сохранилась фотография, которая это подтверждала. Он вместе с домашними в Баден-Бадене сидит в фиакре, который катится по Лихтенталер-аллее к «Казино», где их ждет кофе под звуки маленького оркестра. Он все еще помнил солнце, сияющее сквозь ветви высоких деревьев, и удивительного размера — удивительного для него в том возрасте — рододендроны, которые росли по обе стороны дороги. Он помнил, как величественно поскрипывал фиакр, когда они вровень с другими экипажами подъезжали к «Казино», и как должен выполняться неторопливый утренний ритуал. На фотографии, которую он изучил досконально, было смеющееся лицо ребенка и рука, сжимающая руку матери. Он видел, поскольку помнил уже плохо, что все у них благополучно, гладко и гармонично; рядом скромно пристроилась няня, вероятно брата, и Герц помнил, что ее звали Мари. Он знал, хотя ему недоставало непосредственности фотографии, что впереди их ждали прогулки по Шварцвальду, вежливый обмен приветствиями с другими прогуливающи-

мися парами, давящая обстановка дорогого отеля, которая его так восхищала, сентиментальные мелодии, которые наигрывал оркестр «Казино», сигара отца, обильная трапеза, ужасная с точки зрения нынешних диетологов, множество разных докторов, преданных чужому здоровью и благополучию, которые прописывали лечебную воду вместо пилюль.

Того мира больше не существовало, а если он и был, то претерпел большие изменения; фактически он прекратил свое существование одновременно с окончанием его собственного детства. Человек более отважный мог бы вернуться, чтобы измерить эти изменения, но он не был социологом по натуре: ему нужен был тот мир, который отражен на фотографии, и смеющееся лицо, которое, сколько он себя помнил, смягчала уже только умеренная улыбка. Да и улыбка с возрастом стала иной. Улыбчивый мальчик стал вежливым взрослым; улыбка теперь была уже осознанной, словно от него ее ждали. Он продолжал предлагать ее, но не по убеждению. Это уже не была та лучезарная улыбка, но она вполне годилась для деловых отношений. Собираясь выслушать кого-нибудь или посочувствовать, он и хотел бы улыбнуться как раньше, но все

время замечал, что улыбке не хватает радости. Ее, казалось, не осталось вовсе, она была уже просто чем-то эфемерным. Он с этим смирился, как смирился с расстоянием между прошлым и настоящим, и спрашивал себя только, есть ли в этом ощущении что-то необычное, и жалел, что выяснить это не представляется возможным. Разглядывая фотографию, он начинал чувствовать, что находится не в той стране. Думать на эту тему не хотелось. Его ситуация была банальна. Но иногда именно поэтому ее необычайно трудно было признать естественной.

Герц боялся стать таким же, как человек, которого он каждый день видел в универсаме (и который видел его) и кого, хотя он имел вполне благопристойный вид, все сторонились. Тот, казалось, вечно сидел на стуле возле контрольного выхода, с неодобрительным выражением лица, держа между коленей палку. То и дело он высказывал свои соображения относительно правительства всем, кто был готов его выслушать, и покрикивал на тех, кто не был готов. Его пытались оттуда убрать, но, поскольку находиться там никому не воспрещалось, попытки ничем не увенчались. Его обходили за километр, хотя он говорил, или, скорее, провозглашал, привлека-

тельные вещи, поскольку говорил убежденно. Он фонтанировал критикой нравов, обвинениями в лицемерии, во лжи в адрес каких-то людей, облеченных властью, словно он выступал на улицах древних Афин в кругу впечатлительных юношей. Женщины не замечали его, хотя девушки на контроле, которые, по наблюдению Герца, часто менялись местами, либо устало соглашались с его словами, либо смеялись над ним без всякого стеснения, в зависимости от степени их доброты или общего настроения.

Для помешанного не находилось сообщника; не был его сообщником и Герц, хотя помешательство этого человека внушало ему такую жалость и жуть, какую может внушить трагедия. Герц отворачивался, проходя мимо, так как знал, что будет выбран доверенным лицом. В сущности, каждый выбирался доверенным лицом, но без успеха. Степень одиночества этого человека была, вероятно, не особенно заметна кому-то кроме тех, кто отворачивался от него, не в силах видеть собственное отражение. И при этом тот человек стильно, даже щегольски, одевался, значит, кто-то за ним присматривал. Без сомнения, любой прошел бы мимо него на улице и ничего необычного не заметил бы. Только в универсаме,

где ему обеспечены были невольные зрители, он начинал бичевать пороки. Никто не мог уберечься от его неодобрения; доставалось всем. Самым пугающим в его нападках было ощущение, что они, в общем-то, заслуженны. Даже тем, у кого совесть была чиста, становилось неловко — не за себя, так за всех этих бичуемых министров. Почему не находилось желающих опровергнуть его обвинения? Где, собственно, были те министры, которые могли бы пролить яркий свет на сегодняшние проблемы? Ощущение неправильности и неправоты рождалось в непосредственной близости от этого человека, палка которого, казалось, вот-вот запляшет по головам, хотя этого никогда не случалось. Люди выходили на улицу с облегчением, имевшим мало общего с тем, какое возникает после успешного выполнения домашних обязанностей. Люди выходили на улицу с желанием обнять прохожих, погрузиться в успокоительную взаимность, отвлечься от бередящего душу зрелища не приспособленного к жизни человека, неспящей совести, которая, если ее не удержать, может привести к действиям, свидетелями которых они быть не хотят.

Явления такого порядка, пустяковые сами по себе, но повторяющиеся практически ежедневно,

заставляли Герца искать какой-то защиты. Он снова призывал тот воображаемый одобрительный хор родственников или, с большим удовольствием, потому что это был доподлинно реальный человек, того доктора из Баден-Бадена, к которому родители привели его из-за того, что он весил меньше нормы, и который расспрашивал его, восьмилетнего, с серьезным профессионализмом, с прямо-таки судебной компетентностью взвешивал, выстукивал, слушал и наконец вынес успокаивающий вердикт. Получить медицинское заключение у такого мудреца было целительнее любого режима, хотя Герцу пришлось пить воды, которые не произвели никакого заметного эффекта, но по крайней мере не причинили вреда. В Баден-Бадене, и даже в Берлине, солнце сияло, и можно было сидеть в гостиной тетушки Анны, в тумане волнения, и ждать появления кузины Фанни, хотя, когда она приходила, то обычно пренебрегала им или откровенно скучала. Без этих сильных переживаний у него не было ни компенсации, ни цели. Казалось бы, ребячество в его теперешнем возрасте — искать награды за преданность тем ранним впечатлениям, и все же его взрослая жизнь была обусловлена потребностью лелеять переживания, которые

сформировали по крайней мере некоторую часть его характера, и сожалеть, почти до боли, что они никогда не могут быть пережиты снова. Теперь его чувства притупились, и в этом была мудрость природы, а иначе он превратился бы в человека из универсама и проклинал бы свою судьбу, а то и судьбу вообще, и познал отчаяние, которое так стремился побороть.

Он бы с радостью обсудил эти вопросы с таким мудрецом, как тот немецкий доктор, или с идеальным собеседником, к сожалению, недоступным. Люди в нынешнее время занимались такими вещами по телевидению или в воскресных газетах. Телевидение для этого просто идеальная среда. Его бы расспрашивал сочувствующий репортер, правда, при каких обстоятельствах — он не мог себе представить. Зато он мог представить, как будет постоянно беседовать сам с собой о воспоминаниях детства, образах, которые не покидали его всю жизнь. В случае если его выступления будут иметь успех, он послужил бы общественному просвещению в качестве консультанта, и если бы нашел благодарного слушателя, мог бы описать Казино в Баден-Бадене, его богатое убранство в стиле поддельного рококо, так хорошо отражающего дух этого места, или, что больше тешило

бы его самолюбие, поведать о своих путешествиях, своих любимых произведениях искусства, о замке Шлосс Бролек около Кельна, или о доме, который Витгенштейн[4] спроектировал для своей сестры в Вене. Если бы его спросили, он, опять же, не забыл бы упомянуть полотна Клода Лоррена и Тернера в Национальной галерее, о которых его мнение поистине неоценимо. Обо всем этом он размышлял во время вечерних прогулок, но был вынужден хранить молчание. Факт существования такой аудитории всегда был для него самым сильным искушением. Его подлинные слушатели стали ему так же чужды, как люди в универсаме, которые игнорировали человека с палкой. Такое безразличие, с которым он был обязан считаться, было теперь в порядке вещей.

Вместо этого он обсуждал планы на отпуск с Бернардом Саймондсом, с которым они вместе обедали раз в месяц. Вернее, он обсуждал планы на отпуск Бернарда Саймондса, которые были грандиозны: он арендовал дом близ Кортоны, куда приглашал всяких друзей, каждую неделю новых, что гарантировало максимум разнообразия. Герцу это представлялось пыткой, поскольку

---

[4] Примечания: 4
Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийский философ.

сам он мог выдержать только одного человека за раз, и то с большими интервалами. Он поражался вместительности Саймондса, которая казалась неотъемлемой частью его моложавости. Он был пятидесяти с чем-то лет, и на вид тоже, но вкусы имел намного более молодого человека, как явствовало хотя бы из этого отпуска. Была у него и девушка, которая жила на Хиллтоп-роуд в то время, которое ей удавалось выкроить среди своих многочисленных дел, часто требовавших ее присутствия в Гонконге. Саймондс гордился ею, но практически его одинаково устраивало как ее присутствие, так и ее отлучки. Он много говорил, рассказывал о вечеринках, уикендах, планах уже на следующий отпуск. Удивительно, что он совсем не возражал против общества Герца, скорее даже получал от него удовольствие, но всегда поглядывал на часы, чтобы удостовериться, что не опоздает к другому развлечению, которое, возможно, было намечено на поздний с точки зрения Герца час. Саймондс не был интересным собеседником, но создавалось впечатление, что он к нему искренне хорошо относится. В его манере улыбаться было что-то от привязанности Островского к своим непутевым протеже. Это сходство было удобно тем, что никто из них ни-

чего не требовал от другого. Саймондс был его поверенным, и у него хватало работы, так что никакого намека на покровительство быть не могло.

Герцу, пожалуй, хотелось бы, чтобы в их отношениях было больше поддержки, больше размышлений, чтобы они были похожи на те телевизионные интервью, в которых выспрашивают ваше мнение по разнообразным поводам. Он тешил себя мыслью, что выполняет некую функцию в жизни Саймондса, некую псевдородительскую функцию, просто на основании того, что он старше. Он был суррогатным старшим, к которому Саймондс питал старомодное, почти наивное почтение. У Герца не было большого опыта общения с младшими, он инстинктивно понимал, что надо как можно меньше лезть в их дела, однако проявлял любопытство и был к ним снисходителен. Отсюда подробные расспросы с его стороны — например, о планах на отпуск — и столь же подробные ответы Саймондса. Это был способ не говорить о себе. Потому что затеять такой разговор значило бы огорчить Саймондса перспективами того, что его ожидает.

Конечно, у него все сложится иначе: он не приписывал Саймондсу сходства с собой и не считал,

что угасание — обязательный удел, участь, которая объединяет всех. В таком взгляде на вещи по крайней мере было бы что-то утешительное. Но на самом деле каждый должен выплывать самостоятельно и может разве что просигналить другим, что узнал о настигающей их волне. Единственным ресурсом в таких обстоятельствах были молодые, дети, если кому повезло иметь детей, а для тех, кому не повезло, такие, как Саймондс, которым хватало доброты терпеть общество подобных Герцу. Здесь также требовалась осмотрительность: каждый писал такой портрет, который не вызовет отторжения, выдавал отредактированное изображение себя, которое будет приемлемым для других. Таким способом можно пройти собеседование. Признания, которые рвутся наружу, неизбежные жалобы и сожаления нужно душить, чтобы не вызвать отвращения, или, что бывает чаще, скуку и нетерпение. Вся сложность была в том, чтобы оставаться независимым и держать себя в узде.

— Так когда вы собираетесь в Италию? — спросил Герц, взяв вилку в руку.

— В конце следующей недели. Если вам что-то понадобится, свяжитесь с Дикеном. Он в курсе всех ваших дел.

— Завещание… — сказал Герц. — Завещание Островского. Как можно о нем забыть? Я чувствую себя недостойным, даже стыжусь.

— Денег, которые он вам оставил? Не стоит. Я тоже получил свою долю, не забудьте. Мы были единственными наследниками. У него ведь не осталось никакой родни.

— Он говорил, что вы его племянник.

— Ничего подобного. Всего лишь троюродный брат, да к тому же я мало его знал. У него была манера время от времени вдруг навещать моих родителей.

— Так же, как и моих.

— Он был одинок, конечно, хотя постоянно крутился, ворочал какими-то делами. В какой-то степени ему нравилось быть одиноким, или, вернее, неподотчетным. Никто никогда не знал его реального положения.

— Какого он происхождения?

— Не такого, каким можно было бы гордиться. Островский — это, конечно, не настоящая его фамилия.

— А как настоящая?

— Абрамский. Я провел небольшое расследование. Он был человек, который сделал себя сам, в полном смысле слова. И все же он любил

поддерживать иллюзию, что у него есть друзья: мои родители, ваши родители. Это все, что у него было. И ни у кого не хватало на него времени. Его манера общения была довольно нерасполагающая. Между прочим, он смотрел на ваших родителей снизу вверх и считал, что они аристократы.

— И ошибался, — сказал Герц.

— Но для него так оно и было. У вас не осталось никого, насколько я понял?

— Нет, никого. Мой брак, как вы, наверное, знаете, закончился разводом.

— Я такой ошибки не совершу. Насмотрелся на это. Мы с Элен договорились: никакой женитьбы, никаких детей, никаких разводов.

— Даже не знаю, правы ли вы.

Саймондс пожал плечами и внезапно показался Герцу усталым.

— Не скажу, что мы не обсуждали это потом еще раз. Но она дорожит своей свободой. Так теперь у женщин заведено; они, кажется, не страдают без семьи. Иногда я думаю, что мужчины страдают даже больше. Но мы с ней вместе, и нам весело.

— Весело?

— Нетрудно найти, чем себя занять. Мы много путешествуем. И оттого, что мы не все время

вместе, мы всегда рады друг друга видеть.

Он впал в задумчивость, словно предвидел время, когда без нее ему будет тоскливо. Но, подумал Герц, он найдет чем себя занять. Возможно, вечная неуемность была выходом из положения, так же как вечная настороженность была ценой свободы. Только не надо допускать, чтобы человеку слишком рано доставался покой: тогда он не приносит удовольствия.

— Ваше поколение очень отличается от моего, — улыбнулся Герц. — Вы, кажется, планируете все на свете.

— В наши дни все упирается в возможности связи. Мы никогда не бываем совершенно разлучены: электронная почта, мобильные телефоны и тому подобное.

— Но действительно ли вы чувствуете, что вы вместе, вот в чем вопрос. Некоторые вещи нельзя выразить словами.

— Большинство вещей можно.

— Я тут подумал, что самые малые изменения часто самые коварные. Что каждый человек подсознательно возвращается к тому, что я бы назвал его происхождением. В данное время я ем ту пищу, которой меня кормили в детстве. И это не мое сознательное решение. Я делаю это

инстинктивно.

— Вам надо больше заботиться о себе, вы знаете. Вы похудели.

— Да что вы, все нормально.

— Вам нужно взять отпуск.

Он улыбнулся.

— Я с нетерпением буду ждать рассказов о вашем. Могу я взглянуть на счет?

— Позвольте мне.

— Со всеми этими деньгами я просто обязан сделать хотя бы такую малость.

Они расстались, как обычно, в дружеских отношениях, и Герц подождал, пока автомобиль Саймондса отъедет от тротуара. Потом он пошел на автобусную остановку, невольно вспомнив Бижу Франк и свой первый опыт по части рабства. Он улыбнулся. Как она жила, бедная Бижу? И когда она умерла? В «Таймс» на странице некрологов ему не попадалось ее имя, хотя почему оно должно было там быть. У нее была тусклая жизнь, облагороженная определенного рода преданностью. Именно этого ему не хватало, такого рода преданности, какая связывает людей, имеющих немного общего кроме их происхождения, но понимающих друг друга на более глубинном уровне, чем лишенные корней молодые. Теперь

он это сознавал и почти желал вернуть обратно те утраченные связи. Он не был приучен к свободе, вот в чем беда, не воспитали в нем этого. Он всегда видел ее лишь мельком. По иронии судьбы теперь, когда у него свободы было в изобилии, он совершенно не знал, как ею распорядиться. И видимо, учиться было уже поздно.

На остановке на него внезапно нахлынуло чувство, что все вокруг ненастоящее — чувство такое сильное, что ему стало по-настоящему дурно. Он положил дрожащую руку на сердце и, постояв так секунду, вытер пот со лба. Несколько мгновений Герц пытался восстановить самообладание, радуясь, что никто его не видел. Он сам не помнил, как доехал домой в спасительном такси. В постели ему стало получше, и он списал свою слабость на второй бокал вина, который неблагоразумно выпил. Спал он ужасно. Наступление утра он встретил с облегчением, чего едва ли мог ожидать.

7

— Это было похоже на облако, — объяснил он доктору. — Как будто меня окутало облако, или то, из чего они состоят. Такое непрозрачное. Я не могу иначе это выразить, хотя мне пришлось подыскивать сравнения для себя самого. Единственное, что мне пришло на ум, это то, что Фрейд пережил на Акрополе.

— Простите?

— Фрейд писал о чувстве нереальности, которое охватило его, когда он осматривал Акрополь. Он испытал сильную тревогу, и состояние дурноты вдобавок, хотя сознания не терял. Тогда, будучи Фрейдом, он придумал объяснение: ему стало нехорошо оттого, что он пошел дальше своего отца. Другими словами, он достиг образа жизни — в денежном отношении, в плане карьеры, — которого не удалось достичь его отцу. Он вышел за отцовские пределы. Фрейд знал, что его отец не мог бы себе позволить такую экскурсию, поэтому в некотором смысле он предал его, он его обскакал. Очень красивая теория, согласитесь. Я тоже пошел дальше своего отца, который был трудягой

и несчастным человеком. Вы не думаете, что я, возможно, испытал нечто в этом роде?

— Когда вы в последний раз измеряли давление?

— Ну, относительно давно. Ваш предшественник, доктор Иордан… Кстати, что с ним случилось? Такой молодой…

— Он уехал в Девайзес, там его ждет практика тестя. Ему не терпелось выбраться из Лондона. В Лондоне врачам приходится очень нелегко.

— Да, об этом много говорят.

— Сейчас я измерю вам давление. Закатайте рукав, пожалуйста.

На стене позади стола доктора висела нелепая акварель с какими-то лодками на фоне заходящего солнца.

— Это вы сами писали? — вежливо спросил он.

— Моя жена.

— А-а.

У нас весь дом ими увешан. Н-да, высоковато. Даже слишком. Я вам выпишу кое-что от давления. — Он сверился с компьютером. — Я вижу, доктор Иордан прописывал вам нитроглицерин. Вы его принимали?

— Это такие шарики, которые кладут под язык? Нет. Я ничего не принимал. Я предпочитаю не

пить лекарств. Я и видел-то его, наверное, один раз. Доктора Иордана, я имею в виду.

— Они вам помогут, если с вами повторится нечто подобное. Глупо пренебрегать таблетками. Они для того и служат, чтобы помогать.

— О, я ношу их с собой. — Он похлопал себя по карману. — Но я предпочитаю знать, что со мной происходит. А что вообще со мной такое? Я ведь не болен.

— Вы уже не молоды. С вами уже бывало такое?

— В общем-то, нет. Небольшая слабость иногда. Я всего один раз, кажется, обращался к врачу.

Он вновь подумал о немецком докторе из Баден-Бадена, который был в буквальном смысле врач от бога. Герц защитным жестом прижал ладонь к сердцу. Доктор этого не видел, поглощенный своим компьютером. В тот момент Герц решил больше к нему не обращаться. Он, несомненно, был весьма компетентен, но, по мнению Герца, не обладал артистическим или даже поэтическим умением сопереживать, которое позволило бы ему понять чужой недуг. А недуг Герца остался при нем, не в каком-то физическом выражении, но в виде того же облака, маячащего на горизонте сознания. Всю жизнь он был не здо-

ровяком, но устойчивым к болезням, поскольку ему необходимо было беречь окружающих от знания о своей слабости. И бывали моменты слабости, но он беспрестанно преодолевал ее, чтобы не беспокоить родителей и даже собственную жену. Таким путем он выработал некоторый иммунитет к физическим немочам, однако все время отдавал себе отчет в том, что эта защита может рухнуть. До сих пор он не сгибался ни под серьезными заболеваниями, в чем его заслуги не было, ни под пустяшными, в чем она была. Он по своему опыту знал, что хороший ночной сон даст ему силы встретить новый день, и обычно так именно и было, но в последнее время он спал ужасно, а иногда просыпался в панике, с сильным сердцебиением. В такие ночи, точнее, ранние утренние часы, он благодарил судьбу за то, что живет один и может не торопясь совершать все утренние ритуалы, и за это время его сердце успокаивалось. Потом, в течение дня, он больше не испытывал таких ощущений и приписывал свой трепет кошмарному сну, который не разбудил его, но был достаточно тревожащим, чтобы дать о себе знать в виде начинающейся тревоги. Он говорил себе, что изменение восприятия, какое возникает под действием кошмара, может иметь

физическое отражение. В то же самое время он жаждал уловить хоть какую-нибудь информацию, содержавшуюся в том забытом сне.

Вчерашнее происшествие встревожило его настолько, что он записался на прием к врачу, но теперь, после осмотра, решил, что инцидент исчерпан. Эта консультация разочаровала его: компьютер, акварель, странно отсутствующий вид у самого доктора — все это вызвало у Герца недовольство, граничащее с гневом. Это было ново: он не отличался вспыльчивостью. Но тут почувствовал, что вежливость вот-вот его покинет. Ему хотелось больше общения, ему требовалось больше, чем можно было тут получить, и он сам признавал, что это часть его несбыточной мечты о близости, интимности. Его фрейдистское сравнение оказалось для врача пустым звуком, тогда как для него это было важно. Если бы слабость предыдущего вечера можно было отнести на счет неких глубоко метафизических причин, это вдохновило бы его на дальнейшую борьбу. Если же, паче чаяния, оказалось бы, что он чисто физически сдает — он вступал на более зыбкую почву. При всей своей вере в дихотомию отдаленной мотивации и непосредственных причин, он знал, что разум не может всегда обманывать тело и

что тело, которое все принимают как данность, может в любой момент оказаться хрупким и, хуже того, предательским. Он предпочитал считать, что его сердцебиение вызвано гневом на эту консультацию, которая в его глазах была нудным спектаклем и в очередной раз пожалел о степенном, убеленном сединами немецком докторе — как давно это было! — даже пожалел о своей былой стойкости, которой почти не осталось. Он не хотел умирать, но все же еще меньше хотел уступать болезни, поскольку она вынуждает прибегать к чьей-то помощи. А та помощь, которую он мог получить, была, по его мнению, недостаточной. Больше всего его угнетало ощущение, что он нагоняет скуку на этого человека, тратит его время, излагая не просто характерные симптомы, обычные, по-видимому, для всех стариков, а стремясь заинтересовать его предположениями явно дискредитированного толка. Фрейд теперь уже не в моде: молодые люди, особенно молодые врачи, не тратили на него время. Герц обратил свой гнев на себя, почувствовал, какой он запутавшийся и глупый, и приготовился уйти, поскольку видел, что собеседование окончено, что компьютер уже изрыгает рецептурный бланк, что он находится на чужой территории, где только бесспорно фи-

зическое имеет значение, а всякие теории можно отметать не глядя.

— Я вас попрошу ежедневно принимать лекарство от давления и через несколько недель снова прийти на прием. Люди вашего возраста должны относиться к давлению серьезно.

— Значит, вы думаете, что все дело только в давлении?

— Больше я пока не могу сказать. Вы производите впечатление вполне крепкого человека.

Но откуда ему знать? На исследование это совсем не тянет. Прежде всего, оказалось, что это удивительно утомительно. Он попытался представить себе доктора дома, с женой-акварелисткой, но необходимые образы не являлись.

— Вероятно, вы уходите в отпуск? — спросил он, в последней попытке установить какую-то взаимность, пусть даже на условиях доктора.

— Я уже отдыхал пару недель. Я предпочитаю брать отпуск зимой. Сбегаю от всех этих зимних болезней. — Он заговорщицки засмеялся.

И Герц сразу же постиг суть этого человека. Он просто не был создан для профессии врача, ненавидел медицину, ненавидел доброту, которая вменялась ему в обязанность, даже ненавидел себя за это эмоциональное фиаско — в его по-

нимании. Вот чем объяснялась его угрюмость, его предпочтение компьютера живому телу, его слишком ощутимая добросовестность.

— Вы из семьи медиков? — спросил он, чтобы проверить свою теорию.

— Да. Вы очень догадливы. Предполагалось, что я пойду по стопам отца.

— Трудно было бы не оправдать его надежд, верно ведь?

— О да. — В его голосе Герц услышал целый сонм подавляемых желаний.

— Действительно, трудно сопротивляться пожеланиям близких. — «А вам бы стоило заняться чем-нибудь другим, все равно чем, — подумалось ему. — Вы хотели свободы, а вам ее не дали. Вы вполне успешно делаете необходимое. Вы своего рода управляющий для больного. Но на самом деле врачевание — это не управление. Так же как и не искусство. А медицина, уж конечно, самое высокое из искусств, разве не так? Что не могут сказать нам Лоррен и Тернер, находится в ваших руках. Это задача для священника. И человек истинной проницательности не повесил бы в кабинете акварель жены, даже если бы это вызвало разлад в семейных отношениях».

— Носите таблетки с собой, — сказал доктор. —

Положите под язык один шарик, если снова почувствуете себя плохо.

Он встал с видимым облегчением, передал Герцу рецепт.

— Медсестра проверит ваше давление. Просто зайдите через пару недель, без записи.

Герц положил бумажку в карман. Он будет принимать эти таблетки или, вернее, попробует. В интересах науки он даст медсестре измерить кровяное давление. После этого он уже, вероятно, ничего делать не будет, полагаясь на исконное знание себя в борьбе с теми испытаниями, которые ему уготованы судьбой.

— Я так понимаю, что Фрейд сейчас уже совершенно устарел? — спросил он уже у двери.

— Совершенно. До свидания, мистер Герц. Берегите себя.

На залитой солнцем улице он почти перестал сердиться, хотя вялое разочарование осталось. Он вспомнил, что на Паддингтон-стрит есть маленький городской садик, единственная отрада в этом районе, не считая слишком удаленного парка. Он посидит на скамейке и подумает о своем в обществе других стариков, а возможно, также и пожилых дам. Погода оказалась на удивление постоянной: после сумеречной весны теплые дни

угасали очень постепенно, превращаясь в завораживающие красотой вечера, хотя темнело уже довольно рано, поскольку на дворе был август. Теперь уже трудно было игнорировать россыпи опавших листьев или сообщения о засухе в газетах, хотя невозможно было представить, что кому-то хочется дождя. Достаточно выходить каждое утро на солнышко, чтобы отогнать прочь мысли о том, что будет дальше. О приближающейся зиме он сознательно не думал. Он тяжело опустился на деревянное сиденье, и бумажка в кармане зашуршала. Надо будет отнести рецепт знакомому провизору, советам которого он всегда доверял. Пока ему достаточно было сидеть вместе с другими стариками и одной старой дамой, читавшей «Дейли мейл», с которой он чувствовал солидарность. Он бы, наверное, рано или поздно обменялся с ними несколькими замечаниями — о погоде, разумеется: больше он не повторит своей ошибки и не станет касаться таких тем, как Фрейд. Да, это была ошибка. Он был в смущении, боялся, что это может быть заметно со стороны, ругал себя за то, что вторгся на чужую территорию, проявил неуместное любопытство. Но как жить без этого? После стольких лет сознательного повиновения, зависимости от желаний других,

он рассматривал это робкое прощупывание идей как вполне допустимую вольность. Ему уже не нужно было облегчать жизнь всем подряд; он подводил итоги. Он мог читать, размышлять, лелеять нечестивые мысли. Он мог делать выводы, которые показались бы неразумными в дни его повиновения, поскольку это было повиновение, а не рабство, и добывать из этого некоторую остаточную сладость. Он не жалел, что тем временам пришел конец, но к контрасту между той его деятельной жизнью и этой беспокойной свободой было трудно притерпеться и приспособиться.

Он подумал, что с удовольствием обсудил бы этот вопрос, в интересах исследования, с тем или другим пожилым собратом из тех, что грелись на солнышке, и, как всегда, пожалел о том, что это невозможно. На него посмотрят как на постороннего, и, что хуже всего, в своем стремлении подружиться он будет похож на постаревшего школьника. И все же, если бы он набрался храбрости прорваться сквозь этот невидимый барьер — какими открытиями он мог бы обогатиться! Но в этом маленьком мирке, казалось, существовало соглашение о соблюдении предельной секретности. В самом деле, вокруг он видел лишь суровые лица, не смягченные даже тенью улыбки. Со-

средоточенное молчание вызывало мысль о шахматистах, или, скорее, о тех, кого он заметил, испытав похожее смущение, в кафе в Нионе, когда дожидался поезда после столь благочинного свидания с Фанни и ее матерью в «Бо Риваж». Герц понял, что печаль и обида, которые он тогда испытал, подготовили его к целой жизни, полной того же самого: к длинной веренице поражений. Такова была суть его воспитания чувств.

И все же то, что он ощущал сейчас, сидя на солнышке, было не просто очередное разочарование, вызванное чем-то чуть более серьезным, чем невозможность обмена мнениями или, скорее, запрет на такой обмен. Приученному быть наедине с собой, не одинокому в точном смысле этого слова, ему был знаком дефицит мыслей, таких, какие, вероятно, должны быть общими для людей одних убеждений. А разве его не окружали такие же люди, как он сам? Возможно, все дело в дефиците подходящего места для встреч, кафе например, вроде тех, какие можно найти рядом с таким же садиком в любом городе на континенте. Он внезапно почувствовал голод, осмотрелся вокруг, увидел лишь паб, а пабы были не в его вкусе. Он никогда не любил вливать в желудок холодную жидкость, как делают это

мужчины помоложе. Со вздохом Герц встал, решил позавтракать в итальянском ресторане на Джордж-стрит, подумал: это слишком далеко — и решил удовлетвориться бутербродом и бокалом вина. Вообще-то он был не прочь купить газету, вернуться сюда и просидеть тут до вечера. Ему не хотелось идти домой.

Воспоминание о вчерашнем недомогании постепенно бледнело и наконец почти совсем перестало тревожить. В том, что это было проявление тайного, весточка из бессознательного, Герц ни капли не сомневался. А вот доктор искал обычного объяснения и в своем рвении уничтожил ореол тайны, которая была таким богатым источником ассоциаций из прошлого. В конце концов, доктор не смог найти объяснения более удовлетворительного, чем то, которое знал сам Герц, и, в общем, только для вида придерживался своего заключения, советовал принимать таблетки. Но Герц знал, что за его жизнью, за той жизнью, которой он живет теперь, на Чилтерн-стрит, на Паддингтон-стрит, в этом парке, простирается неисследованная территория, состоящая в основном из ошибок — не только его личных, но и из ошибок других людей. Что, если Фанни согласилась бы за него выйти? Как они

жили бы? На его доход? Немыслимо. Ему самому хотелось бы жить в «Бо Риваж», что более всего соответствовало бы судьбе изгнанника. Его недуг был отражением такого состояния духа; бесполезно приписывать это какой-то иной причине. И никакого другого пути объяснить это интереснейшее явление — интереснейшее для него, — кроме как обсудить его со специалистом, не было.

То, что он пожелал отнестись к своему недугу серьезно, настолько серьезно, что обратился к врачу, он объяснял болезненной восприимчивостью, которую он обычно маскировал улыбкой. Улыбка была его маской и забралом: она заверяла в том, что он человек неопасный и даже благонамеренный, которого можно попросить об одолжении и который сделает то, о чем его просят. Он безропотно соответствовал этому образу, но и тут было не все так гладко. Он знал, что может быть и другим. Он, помнится, говорил Саймондсу, что под конец жизни человеку свойственно возвращаться к своим корням, а в молодости он был романтиком, да и в зрелом возрасте тоже: как еще объяснить ту поездку в Нион и ту преданность миражу его юности? И что после слишком прозаического брака, на который он, однако, смотрел без досады, он до сих пор еще

чувствовал близость с Джози, увлеченной им, принявшей его — и так быстро отбросившей. И с такой легкостью! Этим-то они и отличались. Даже теперь он жаждал от нее какой-то искорки признания, пусть даже ни к чему не ведущей. Его чуткость к ней не была взаимной; он смирился с этим, так же как и с тем, что она редко думает о нем, вполне довольна своей нынешней жизнью и считает свой брак некой стадией, через которую она прошла, как другие проходят через юность, оставив его стариком, сидящим на солнышке среди таких же, как он. Он не чувствовал обиды, удивлялся только, что так немного сумел предъявить тому, что казалось ему самым желанным, — постоянству. Он не понес особых убытков: реальность миновала, иллюзия устояла. Он по-прежнему мечтал об идеальном общении в идеальном пейзаже. Он воспринимал это как своего рода демобилизацию из мира в частные владения, которые останутся в тайне, полужелания, полумечты. Хотя иллюзия и померкла, она никогда до конца его не покидала. В самом примитивном, самом архаичном уголке мозга он до сих пор лелеял ее, даже помышлял о том, чтобы ее реанимировать, понимая при этом, что шанс у него уже был и он им не воспользовался.

Он не видел, на этой стадии, как можно было действовать по-другому. Он признавал, что его поражения были славными, и в то же самое время не понимал, что за славу принес ему его опыт. Он чувствовал печаль, даже стыд, и, несомненно, сожаление, но также чувствовал и то, что его роль была кем-то написана, что все события подчинены неким космическим законам. Просто он не мог измениться, вот и все. Облако, которое окутало его вчера вечером, подумал Герц, было напоминанием, что он впустую потратил жизнь.

После полудня сад заполонили другие типажи. Две девушки, сидящие напротив, имели сосредоточенно-возбужденный вид, присущий женщинам, обсуждающим мужчин. Их занятие перенаправило ход его мыслей. Джози была принципом реальности, Фанни — принципом наслаждения. Опять Фрейд. Жалко, что молодой доктор так пренебрежительно к нему относится, но в его работе вообще не было никакого идеологического фона. Вот чего не хватало этой консультации — контекста. Тут Герц сказал себе, что он смешон: у занятого лондонского врача нет времени на подобные дискуссии, а если бы даже дискуссия состоялась, какой вклад в нее он, Герц, мог внести? Лучше уж говорить о давлении, о

нехватке ресурсов — так теперь, кажется, принято говорить, во всяком случае, так он слышал по телевизору. У врачей всегда Спрашивали в вечерних новостях об их проблемах и пугали телезрителей кризисом, бедственным положением. Игнорировать эти вопросы невозможно; таким образом, людей призывают сочувствовать врачам, а не пациентам. Этот призыв к общественному сочувствию раздражал Герца, который, как никто другой, жаждал сочувствия иного рода, не выторгованного, а интуитивного. Он вздохнул. Человек на другом конце скамейки (каждый охраняет свое личное пространство) поднял голову и спросил:

— У вас все в порядке?

— О, в полнейшем, — сказал очарованный Герц. — И не волнуйтесь. Я не прерву ваше чтение.

Мужчина — весьма колоритный, в синей рубашке и кремовых брюках — отложил в сторону «Телеграф» и сказал:

— Вообще-то я уже прочел все, что хотел. В любом случае солнце слишком сильное. Лучше уж использовать его по максимуму: обещали дождь.

— Да нет, не может быть. Такой чудный день. Я раньше не видел этого садика.

— Эти городские сады — спасение для таких, как мы, живущих в квартирах.

— Да уж. Я, наверное, приду сюда еще как-нибудь.

— Здесь не всегда так славно. Лучше всего утром. Но с утра всегда находится какое-нибудь дело.

— Я здесь сижу весь день, — с любопытством сказал Герц.

— Тогда вам повезло. С вашего разрешения, я дочитаю, а то мне скоро домой. — Он снова поднял газету, после чего Герц напрягся, боясь помешать.

Ему стало жаль, что он не взял с собой книгу; в следующий раз надо будет взять обязательно. Но его мысли были настолько захватывающими и нерадостными, что на ход их ничто не могло повлиять. Он напомнил себе, что дома его ждет сборник рассказов Томаса Манна: старомодное чтение, но именно такое ему нравилось в последнее время. И еще надо было зайти в аптеку. Он со вздохом встал, хотя ему вовсе не хотелось вновь оставаться одному. Мужчина с газетой поднял голову и кивнул.

— Приятно было познакомиться, — сказал Герц, найдя подходящую формулу для того, чтобы

уйти. — Приятного вечера.

— И вам, — сказал мужчина удивленно. Никаких дальнейших встреч не подразумевалось.

Медленно, неохотно он поплелся домой. Кирпичные фасады Чилтерн-стрит пылали в последних лучах солнца. Герц устал, хотя за весь день ничего не сделал. Ему хотелось отложить мысли о таблетках и других закупках и тихо провести полчаса с Томасом Манном. Дома он приготовил чай, нашел печенье, зная, что надо о себе заботиться и есть больше. «Инцидент», как он называл теперь это про себя, повторился еще раз, но хуже, чем недомогание, было мрачное воспоминание о том, как его прихватило посреди улицы, и именно в этот момент случайно подъехало такси, и еще мучила мысль, что, не появись оно, возможно, он бы не добрался до дома. Все это печально перекликалось с рассказом Томаса Манна, который он читал накануне, где бедный сумасшедший, шатаясь, бредет на кладбище к родным для него могилам, веселя прохожих, которые видят его окончательный крах и вызывают санитарную машину. Финал рассказа открытый, хотя читателю ясно, что судьба несчастного предрешена.

Это был очень грустный, и больше чем грустный — тревожный рассказ, хоть и всего-то длиной

в несколько страниц. Собственно, все рассказы были грустными или тревожными, и было трудно различить за ними искусство. Они подавляли своей властью. Не стоило читать в этот вечер дальше, тем более что страх, которым веяло от страниц, слишком живо давал о себе знать. Герц понял, что сейчас он очень уязвим, и попытался восстановить гнев, который испытал в кабинете врача, но не смог. Он сознавал, что консультация не принесла никакой пользы; хуже того, она ранила его гордость. Никакого реального вреда ему не причинили, но он знал, что больше туда не пойдет. Что бы ни происходило с ним дальше, он должен будет справляться самостоятельно. Вот что стояло за всеми прочими мыслями.

Он допил чай и с решительным видом отнес рецепт провизору.

— Стоит их вообще пить? — спросил он, получив пачки таблеток.

— Да я и сам их принимаю. Многие их пьют.

Этого ему было достаточно. Если он един с другими людьми, никакого вреда таблетки ему не причинят. Он снова повернул домой, чуть прихрамывая от усталости, и вдруг очень захотел в постель. Но лечь спать означало сдаться. Кроме того, его больше не поддерживали сны,

которые становились в последнее время все более угрожающими. Прошлое вновь пробивалось в его сознание, и все памятные ему лица — мертвых или отсутствующих, это не имело значения — возвращались к нему привидениями. Они погрязли в своих собственных заботах, перестали о нем думать, оставили его доживать свое в одиночестве. И все же он страстно желал возвращения любви, поскольку ему казалось, что он остался ей верен. От начала и до конца он был влюбленным, и все же любовь его предала. Он боялся оказаться лицом к лицу с этой мыслью в долгую бессонную ночь.

Герц решительно включил телевизор, посмотрел передачу о садоводстве, передачу о кулинарии, сериал о полицейских и другой — о пожарных. Это возымело действие: теперь он вернулся в настоящее. Он с облегчением выключил телевизор, не торопясь принял ванну и благодарно нырнул в постель. Сон придет к нему рано или поздно, и какую бы информацию он ни содержал, ее нужно будет рассмотреть рационально, без жалости к себе, и только тогда, когда забрезжит простой и обыкновенный день.

8

Герц мечтал уехать. Не по ночам, в безопасности постели, когда не было никакой возможности куда-то деться, а на прогулках, утренней и вечерней, каждый раз убеждаясь заново в том, что лето уступает осени. Год изменился решительно: посидеть в городском саду уже было нельзя. Этот сад заменял ему те широкие горизонты и великолепные пейзажи, какие он помнил по своим поездкам, однако лишь задним числом смог правильно оценить. Заморозки по утрам и сумерки, наступающие все раньше и раньше, отчетливо показали ему перспективу тусклых зимних дней, когда ему придется по многу часов выносить общество самого себя. Он говорил себе, что ничто не изменилось, что он по-прежнему свободен приходить и уходить когда захочет, или, как вариант, что нужно сохранять свой образ жизни без изменений. Квартира угнетала его, когда он думал о том, что скоро ему придется проводить в ней уйму времени, но когда он бывал на улице и вновь замечал перемены в освещенности, а особенно по вечерам, когда слышал шаги спешащих

домой прохожих, он испытывал острейшую муку при мысли о собственном распорядке, об осторожном распоряжении временем, о долгом дне и о еще более долгой, а теперь еще и привычно бессонной ночи. Хотя вечера были хороши. Синие русла улиц словно несли в город ночь, надвигающуюся с поэтическим напором, которым он хоть и восхищался, но несколько отстраненно, как будто ждал, что занавес поднимется над драмой в классическом понимании слова, в которой для него вновь не будет места, не только потому, что присутствие его в ней призрачно, но и потому, что он не испытывает Достаточного сочувствия, а лишь повинуется импульсам, природа которых почти уже забылась.

Он смотрел на витрины туристического агентства и видел рекламу путешествий на другую сторону мира. Там, на этих таких обманных плакатах, были молодые люди, выпивающие на пляже или карабкающиеся с рюкзаками за спиной на какую-нибудь кручу. Существенную роль в их привлекательности играла молодость, хотя он понимал или знал с чьих-то слов, что эти же или немногим отличающиеся от этих путешествия совершают люди старшего возраста, тратя на это деньги после того, как целую жизнь

осторожничали и экономили, и наслаждаются уверенностью в себе, которую уже считали утраченной. Все эти авантюристы-отпускники изображались парами, даже седовласые были парами, они, казалось, бросали вызов Герцу, когда он, медленно проходя мимо, пытался проникнуть в их немые миры. Такие свершения были не для него, ни сейчас, ни когда-либо. Он шел одиноким путем, знал, не будучи их частью, семьи, где его принимали. Но нельзя сказать, что он когда-нибудь активно искал их общества. Они казались ему похожими на экспонаты музеев, на экспозицию, которую можно рассматривать, ища объяснение загадкам прошлого и еще большей загадке настоящего. Он знал, что распорядился своей жизнью самым лучшим образом, что был работящим, преданным сыном, далеко не худшим мужем, но все же жизнь не принесла ему окончательного удовлетворения, и потому он вступил в старость с чувством, что все это ему еще нужно пройти, что он все еще сомневающийся юнец, ищущий себя в переживаниях, которые могли бы даровать ему чувство полноты жизни. Тогда бы он, не ропща, встретил свой конец, с сознанием того, что испытал все, чего бы стоило испытать, и нет нужды сожалеть о тех тропинках,

какими он не пошел.

Его влекло теперь не банальное обаяние отдаленных мест, а спасение от мыслей, которые были слишком хорошо ему знакомы. Он видел себя на солнце в каком-нибудь городском саду, вроде того, где он коротал дни летом. Он даже рассматривал возможность остаться где-нибудь на неопределенный срок, поскольку знал, что никто по нему скучать не станет. Можно было бы периодически слать открытки Бернарду Саймондсу, Джози, миссис Беддингтон из магазина: «Отдыхаю на славу»; — чтобы сбить их со следа, а тем временем спланировать свой уход со сцены. От этой мысли, кроющейся за всеми остальными, ему стало страшно: ведь не к этому же он на самом деле стремится? Ведь можно же уехать в менее авантюрном смысле, не от жизни как таковой, а от обстоятельств, которые сейчас кажутся ему нагоняющими тоску? Существует же, в конце концов, простое удовольствие посидеть на солнце, почитать местную газету, пропустить стаканчик вина, и на удовольствия этого рода он, безусловно, имеет право. Его безделье больше его не угнетало, однако и не приносило того удовольствия, на которое он рассчитывал. И когда дни стали холоднее, а солнце лишь мельком

проглядывало сквозь все увеличивающуюся облачность, он сказал себе, что не готов к темноте зимы, что ему необходимо немного простого животного тепла, чтобы подготовиться к долгим зимним месяцам.

Какую-то часть этого он, достаточно эвфемистично, высказал за чашкой чая Теду Бишопу, уборщику, которого Герц раз в неделю одалживал у миссис Беддингтон. От помощи Теда Бишопа было мало проку, но ее трудно было отклонить; в любом случае, Герц считал его человеком дружественным и не возражал против запаха сигарет, которым пропитывалась квартира после его посещений. Иногда он приводил с собой двухлетнего внука, но малышу скоро надоедало в гостях, поэтому они оба быстро уходили. Герц знал, что он слишком робкий работодатель, чтобы диктовать свои условия найма, знал, что Тед Бишоп считает его совершенно безответным, не способным возразить против присутствия ребенка, радостно топающего по паркетным полам, а также догадывается, что Герцу самому в радость нянчить малыша, успокаивать его и приглядывать за ним вполглаза, но не упуская ничего. Именно в это утро, после тяжелой ночи, Герц был рад Теду Бишопу просто как человеческому существу, хотя

и понимал, что при этом стер разделявшую их дистанцию и заодно статус каждого из них, а это было не вполне правильно и даже нежелательно для обоих. В Берлине прислуга знала свое место: порядок, ежедневная уборка, уход за домом. Даже на Хиллтоп-роуд три раза в неделю приходила одна приятная женщина, которую фактически было не видно и не слышно. Он не льстил себя мыслью, что Тед Бишоп предпочитает такие отношения другим, при этом Тед не проявлял ни малейшей преданности, хотя ему чрезвычайно хорошо платили за то немногое, что он делал. Он был полон болезней, которые не позволяли ему особенно трудиться. Это давало Герцу две возможности: сверять свои симптомы с симптомами Теда и, что важнее, получать некоторую моральную поддержку в жалобах Теда на артрит (который был ему неведом), расстройство желудка (которым он также не страдал) и одышку, которую тот самым театральным образом демонстрировал, если его просили помыть окна. Теду, и одному только Теду, он признавался в том, что у него тоже случается одышка, зная, что это опасный путь, но соблазняясь возможностью оставить высокие принципы и потонуть в миазмах скорбного покачивания головой, которое

почти наверняка принесет им обоим некоторую степень комфорта.

— Как отдохнули, Тед? На Корсике, если я ничего не путаю?

— Никогда больше! — был ответ. — Я поехал, чтобы помочь дочери, как я вам уже рассказывал. Я присматривал за мальчонкой. Против него я ничего не имею. Одной ей трудно; потом, она еще молода, и ей порой хочется развлечься. Но по вечерам, когда ей хотелось погулять, было тяжеловато. И питание тамошнее мне не подходит. Какое счастье вернуться домой, знать, что за еду ты ешь, читать свою любимую газету, сходить в паб. Сказать по правде, там мне так хорошо не было. Дочери я ничего не говорил, да и мальчику понравилось, но пусть она и мать-одиночка, а придется ей поискать другую няньку, если она захочет в следующем году куда-то поехать.

— А я вот собираюсь куда-нибудь…

— Нет, ее, конечно, понять можно. Но ведь я и о себе должен подумать, правда же? Я человек больной, и у меня тоже есть свои обязанности, вы же понимаете? У нее хорошая работа, она парикмахер, но все же платят ей не шикарно. И она любит по вечерам уйти, а мальчонку оставить на меня. Так что я не вижу большого смысла в том,

чтобы ехать невесть куда и там делать все то же самое. Но ей нужно было отдохнуть, я понимаю. Вы говорили, что собираетесь уехать?

— Да, я подумываю об этом.

— Вы уверены, что правильно делаете? — Тед погладил себя по груди. — Вам надо быть поосторожнее. Я не думаю, что это мудро — путешествовать в вашем возрасте. Когда мы летели обратно, с одним мужчиной случился приступ. Ему давали кислород. Вашего возраста мужчина. Опять же новая пища, это всегда чревато всякими неприятностями. Вам тут живется неплохо, правда же? Отдохните немного, если вам так хочется, сходите лишний раз в магазин. На вашем месте я бы предпочел сидеть дома. Свое всегда ближе.

В этот момент Герц решил поехать в Париж.

Это решение, по-видимому случайное, твердо укоренилось в его мозгу. Оно стало еще более взвешенным, пока он гулял в этот бессобытийный день, день пасмурного неба, которое внезапно вызвало в нем бурю протеста. Пока он шел в универсам, решение стало более четким, более выпуклым. Герца искушала мысль вновь стать изгнанником, раз уж такова его судьба. Он отправится в Париж и отыщет там маленькую гостиницу, где много лет назад посеял дикий

овес. Париж, место, которое изначально было вне сферы действия его семьи, бдительности его матери. Его краткие каникулы не вызвали ни у кого из домашних серьезных возражений, как, впрочем, и поддержки, но только в Париже он и его спутницы вкусили подлинной свободы. Он вспоминал об этом, покупая в дорогу хлеб, ветчину, сыр. Необходимости в долгих сборах не было. Он возьмет свой плащ и спальный мешок и сядет в поезд, как любой другой невинный пассажир. А уж в Париже он найдет ту маленькую гостиницу, где чаял встретить улыбкой узнавания мадам Ру — так звали хозяйку. Она подарила ему доброту, какую могут проявить лишь незнакомые люди. С ней ему не нужно было объясняться: она, казалось, покровительственно смотрела на молодость Герца и его тогдашних подружек. О последних он помнил очень немного: они просто подписали краткое перемирие в вечной войне каждодневных обстоятельств. Они тоже были добры, ни в чем не упрекали ни себя, ни его, не требовали ничего такого, чего ему не хотелось бы давать. Они относились друг к другу с предупредительностью, какая бывает между равными партнерами, знающими рамки контракта. Только уже по возвращении домой его эйфория

прошла, но в основном из-за того, какая жизнь ждала его дома, а не от самого факта окончания развлечения.

Некое похожее чувство преследовало его в течение этого дня. Надежды его вновь поблекли. В данном случае уже трудно было бы винить в этом семейные обстоятельства, поскольку больше не было семьи, которая встретила бы его многозначительным умолчанием о его недолгом отсутствии, подчеркнутой усталостью отца во время вечерней трапезы, в которой близко не было ничего праздничного. Возвращаясь на Чилтерн-стрит со своими скромными покупками, он пересмотрел свой план. Сначала он отправится в Париж на один день, так сказать, на разведку; сходит в свою гостиницу и выяснит, сколько они берут в месяц. Проверит атмосферу, посмотрит, можно ли почувствовать там себя долгожданным гостем. Это будет эксперимент, и поэтому его ничто не должно связывать. Позже наваждение исчезло, поскольку вмешались другие заботы.

Скоро придет зима; что он будет делать сам с собой весь день, вдали от уюта родной квартиры? Предупреждения Теда Бишопа вновь прозвучали в его голове. От несчастного случая никто не застрахован. И все же он настойчиво добивался

некоторой свободы от ограничений, которые и сейчас были не менее реальны, чем в прошлом. Но ограничивали его не воспоминания: старые привычки его ума все еще были целехоньки, и это раздражало. Он почти жалел, что нет семьи, к которой он мог бы вернуться, поскольку, как он судил по опыту прошлого, а также по внутреннему убеждению, возвращение будет самой трудной частью всего мероприятия. Так не разумнее ли будет вовсе исключить возвращение?

В утро отъезда он пробудился от необычайно тяжелого сна, желая лишь одного — не двигаться. В состоянии рассеянной решимости он вышел из дома и добрался до вокзала Ватерлоо. То же самое защитное безразличие привело его к поезду, обеспечило газетой и кофе, напомнило ему, что он может совершить столько всего — или совсем ничего, как захочет. Сдержанные английские предместья скользили мимо окна. Точно такая же сдержанность приветствовала их семью много-много лет назад и если не выразила им радушия и гостеприимства, то по крайней мере не осудила и не устроила проверок. Он дорос до того, чтобы оценить английскую нелюбопытность, которой, возможно, — мимикрия! — объяснялось его сегодняшнее безразличие.

Выйдя из поезда, он сел в метро и поехал к Сен-Жермен-де-Пре, потому что туда он некогда возил своих подружек. Они тогда поражались игре красок, сложности, сидя во «Флор» или «Де Маго» и глядя на вечерние огни. В те далекие дни им необычайно повезло в том, что они были похожи в своих ожиданиях; юношеская наивность защитила их от потенциального разочарования не только в самом путешествии, но и друг в друге. И их инстинктивная доброта, доброта, с которой он больше с тех пор не встречался, гарантировала, что они расстанутся без взаимного недовольства. Они были скромными служащими, как и он, которые могут помахать друг другу, встретившись по дороге на службу, улыбнуться в знак расположения и пройти мимо. Таким способом они достигли уровня утонченности, недоступной многим более земным женщинам, и более того, своего рода изящества, которое рождалось из чистоты помыслов и краткого опыта чего-то вроде подлинного счастья.

Он заказал себе кофе, огляделся без особо шокирующего узнавания и понял, что истинная мрачность старости — в неспособности вернуть воспоминания к жизни, разжечь пламя прошлого до той яркости, с какой оно когда-то ощущалось.

Теперь он сидел лишь слегка удовлетворенный, в знакомом углу, не забывая о времени, которое ему отмерено, часто поглядывал на часы и мерз, но не хотел надевать плащ. Он попросил счет и поднялся, не без труда собрав себя в единое целое. Внезапно эта экскурсия показалась ему чистым безумием. Совершенно невероятно, чтобы он, чувствуя себя уже таким уставшим, смог подобным образом проводить дни и дальше. Он не должен был уезжать из дома и опять же должен был понять, что ему нужно думать о своем дальнейшем существовании, что правильно он осторожничал, был благоразумным, осмотрительным, совершал свои праздные прогулки, просиживал часами в городском саду, экономил свою тающую энергию, свое время, свою жизнь. Не в таком он возрасте, чтобы рисковать. Он жил мечтой о юности; он хранил в воспоминаниях солнечный свет, бодрость, лица, такие же молодые, как и его собственное в ту пору. Но те лица, если бы пришлось увидеть их снова, будут постаревшими, испорченными и, хуже того, безразличными. Именно это безразличие охватило его теперь. Он подумал даже, что можно вернуться назад на вокзал и поймать более ранний поезд, который отвезет его домой. Ибо теперь

он действительно ощутил это как дом, со всеми его мелкими удобствами. Он стоял на тротуаре в нерешительности, и прохожие то и дело его толкали. Пока он сидел в кафе, небо потемнело. Собирался дождь.

Но, повинуясь некоторому неясному инстинкту, он сошел с тротуара и не повернул к метро, а перешел улицу, ускоряя шаг и перекинув плащ через согнутую руку. Он торопился в Сен-Сюльпис, к образу, который преследовал его, который он запомнил с того самого первого путешествия в Париж, к изображению двух мужчин, не то дерущихся, не то танцующих на лесной поляне, к шапке, сброшенной одним из дерущихся, к запыленному каравану всадников, тающему вдали: Иаков и ангел. Эта сцена не потеряет ни малейшей толики своей силы и тайны оттого, что он увидит ее снова. Так и оказалось. Голова Иакова была все так же наклонена, когда он пытался боднуть своего странного противника в грудь; он казался жестоким, невежественным, но храбрым. Нужно быть храбрым, чтобы сразиться с ангелом, который имеет стать и грацию взрослого мужчины, такого, который неизбежно победит в этой схватке. Он победит в ней не оттого, что превосходит Иакова силой, хотя заявлено было

именно это, а пылом пристального взгляда, направленного на голову невидящего Иакова. Что выражает этот пристальный взгляд? Не упрек и уж во всяком случае не возмездие. Скорее, это напоминание о недремлющем оке. Насколько Герц помнил эту историю, битва закончилась ничьей. Иаков отделался легче, чем можно было предположить: проявил своего рода понимание и потребовал благословения. Одно это показало его благонамеренность и даже праведность. Ничего больше демонстрировать не пришлось.

И, однако, ангел все равно вышел победителем, потому что был прекрасен, был силен, потому что он справился со своей задачей, которая, конечно, как тогда, так и сейчас, заключалась в том, чтобы выполнять условия трудового договора. И он сделал это, к немалой выгоде зрителей, если не самого Иакова. Никто из тех, кому довелось быть свидетелем этой битвы (те несчастные люди на лошадях даже о ней не знали), не мог усомниться в том, что когда-то, в отдаленном прошлом, возможно и вообще вне времени, происходили эти мифические, но несомненные события, явления, пророчества, но что даже и в ту пору такие вмешательства были не вполне понятны. Герц, стоя перед картиной в полумраке часовни, трепетал:

если бы он носил шляпу, то снял бы ее, как снял ее Иаков, готовясь к поединку. Таким образом, бывают бои, которые оборачиваются благом, что доказал Иаков, потребовав благословения вместо того, чтобы умереть от испуга. Но никакого страха, который, возможно, он испытал, в картине не было. А то, что было, не назовешь даже ласковым наставлением — это появилось намного позже. Что в ней было, так это паритет, равный статус, и отсутствие удивления. Эта обыденная драка казалась одним из несомненных фактов того странного времени. Она велась без недобрых чувств с обеих сторон. И все же пламенный взгляд ангела обозначал мощь, которой Иаков не мог себе даже вообразить. Этой своей легкой победой он был отмечен на всю жизнь.

Вдохновленный и даже вроде как растроганный, Герц с минуту постоял в почтительном созерцании. У него было мало веры и, уж конечно, ни одного верования, которое помогло бы ему смириться с концом. И все-таки Иаков был его предком в более широком смысле слова. Герц сожалел, что никогда не вел подобных поединков, пренебрегал побуждениями этого столь далекого от него старика. Все же вера, какой он никогда не обладал, даже будучи ребенком, должна, конечно

же, способствовать поверхностному оптимизму, прививать мысль о том, что кто-то несет за все ответственность, что он, Герц, стоит того, чтобы его поучать, хотя бы даже в назидание другим. Он понимал спасительное милосердие религии, которая должна помогать, утешать, обеспечивать иллюзию взаимности, желанной сердцу каждого. Но еще лучше стоический пессимизм, жесткий взгляд на факты жизни, а более всего — намерение наслаждаться этой жизнью и, безусловно, ценить ее. Преимущество Иакова было в том, что он стал объектом посещения, которого не понял, возможно, не мог понять или не должен был понять по замыслу. Он поступил правильно, попросил благословения, как человек, принявший нежданный комплимент. И ангел, успешно справившись со своей миссией, присоединится к своим столь же атлетически сложенным коллегам и будет ждать дальнейших непостижимых приказаний, как отлично обученный солдат, послушный своему непосредственному начальству и духу той военной операции, на которую призван. Только его неземной взгляд говорил, что он другой породы. В его царстве, возможно, все были наделены таким взглядом.

Пожалуй, не менее мистическим образом по-

ездка состоялась, кульминация была достигнута и ухвачена. Теперь Герц просто отправится домой и все мысли о продолжении изгнания выкинет из головы. Нелепо было думать, что он может переехать в Париж; нелепо воображать, что гостиница будет такой, какой он ее запомнил, что та хозяйка еще жива. Нелепа, прежде всего, эта верность своей памяти в обстоятельствах, которые радикально переменились. Он больше не думал о возвращении как о чем-то неприятном, о мрачных вечерах, которые теперь, после недолгих приключений, его манили. Его прежние спутницы стали старухами, которые думают о похождениях своей юности снисходительно — если вообще о них думают. В «здесь и сейчас», где он пребывал, такой компании у него не было, и непристойную тоску нужно душить. В тот момент, проникшись духом часовни, он примирился с перспективой бесконечного одиночества и, в настроении повышенной остроты осознания, принял ее в объятья. Не будет ни откровения, ни битвы с назначенным богом незнакомцем. Он вынесет столько, насколько достанет ему сил. Это было единственным посланием, которое было ему понятно.

По дороге к станции метро он остановился

выпить стаканчик вина и прицелился понаблюдать за жизнью вокруг. Но знакомая формула не сработала. Если не считать часа, проведенного в Сен-Сюльпис, разминка оказалась бесполезной. Новые начинания были уже не про него; ему придется жить на старом. Впереди маячило лишь одно достойное упоминания дело, и он предполагал, что занести его в летопись суждено Бернарду Саймондсу. Надо бы не забыть оставить кое-какие распоряжения. Опускался вечер, люди останавливались отдохнуть после дневной работы, встречались с друзьями, говорили по мобильным телефонам. Глобализация, о которой он столько читал, здесь была налицо: Париж больше не был, как это ни парадоксально, уютным местечком, каким Герц его помнил, а стал таким же деловым и шумным, как Лондон или Нью-Йорк. Даже жители его казались иными, более решительными, менее разделенными на сословия, и социальные различия стали еще незаметнее, чем тридцать лет назад. Живописный Париж его воображения и, вероятно, воображения каждого путешественника был разрушен новым племенем, опирающимся на рынок, на внешнее, а не на идеи. Когда-то Герц был в том возрасте, когда его сочувствие вызывали студенты, хотя сам он

никогда студентом не был. В те далекие годы, годы его маленьких свобод, это был его идеал. Теперь он был просто посторонним, а вчерашние бунтари стали теперь мужчинами в костюмах и с металлическими кейсами. В качестве иллюстрации к текучести времени они, на его вкус, были прискорбно непоэтичны.

Он посмотрел на часы и двинулся дальше: было уже пять, а его поезд отправлялся в шесть. Он поспешил в метро, и там, стоя в толпе, зажатый чужими плечами, почувствовал знакомое щекотание в горле, как будто сердце пыталось выскочить. Он достиг Северного вокзала всего с десятиминутным запасом времени, торопливо занял свое место и осторожно откинулся назад, рукой держась за грудь. Поезд отошел вовремя, и за темным оконным стеклом замелькали, вспыхивая и угасая, огни Парижа; вскоре потек вспять виденный утром пейзаж. Герц понял, что его способность на эксперименты умерла в ходе этого нелогичного дня. Теперь он удивлялся, что на него нашло, с чего он вдруг поехал, когда никакого резона ехать не было, и радовался, что никого не предупреждал и ему не придется ничего объяснять. Позже, он знал, он оправится и сможет вскользь упомянуть, что он съездил в Па-

риж, чтобы возобновить знакомство с картиной, которая когда-то произвела на него большое впечатление. Таким образом, можно будет наделить это убогое приключение некоторым налетом светскости. Но он знал, что в будущем таких попыток предпринимать больше не станет. Это как половое влечение, которое он был все еще способен испытывать, но больше не мог удовлетворить. Немые фигуры сражающихся Иакова и ангела все еще стояли перед его мысленным взором. Он подумал, что они еще не раз явятся ему в те дни, что ждут впереди.

На Чилтерн-стрит он счастливо погрузился в кресло, так и не положив плаща, который держал на согнутой руке. Он слишком устал, чтобы есть, или спать, или даже строить дальнейшие планы, благо никаких задач перед ним не стояло. Позже, лежа на спине, он подумал, что, по крайней мере, он прошел этот путь, попытался немного восстановить чувство собственного достоинства, правда, безуспешно. Поворачиваясь на бок, он подумал, что было бы смело еще когда-нибудь повторить этот опыт и почувствовать некоторую гордость за то, что не испугался трудностей, как будто отъезд был просто испытанием характера, как он и задумывал. Он еще не спал, но глаза

уже слипались. «Вы знаете росписи Делакруа в Сен-Сюльпис? — сможет теперь заметить он Бернарду Саймондсу, когда они встретятся. — Я их обожаю. С месяц назад я специально заскочил туда на них посмотреть. Я, видите ли, вспоминаю их с большой нежностью».

9

Герц разложил на столе фотографии, намереваясь выяснить, какой вклад внесло прошлое в его унылое настоящее. Он огляделся по сторонам, чтобы узнать, готова ли комната встретить нечто невероятное и неизвестное — нежданных гостей, увидел, что она как никогда безупречна, и со вздохом повернулся к немым прямоугольникам, которые обычно хранил в папке, в чемодане, под спудом, и которым теперь предстояло скрыться навсегда. Он испытывал отвращение, но еще и любопытство, которое всегда сопровождало это своеобразное исследование: фотографии, никоим образом не связанные ни с кем из его нынешних знакомых, были для него болезненным отчетом о людях, к которым он уже не питал никаких чувств.

Однако он был связан с этими людьми, был слеплен ими и теперь изживал их наследие и считал себя преемником их многочисленных горестей, по сравнению с которыми его собственные казались мелкими. Он чувствовал себя гадко, как будто ему каким-то образом все сошло с рук,

и это усугубляло его двойственное отношение к ним. Даже фотографии служили напоминанием о сложном семейном несчастье. Он не собирался больше их разглядывать, он навсегда упрячет их, чтобы после его смерти они, вместе с остальными его пожитками, оказались на свалке. Но он полагал, что обязан напоследок пересмотреть их еще раз, прежде чем убрать в чемодан, который в свою очередь займет место в подвальчике в задней части магазина миссис Беддингтон, где хранили ненужные вещи все жильцы дома. Он отчасти надеялся, что мусорщики, приезжающие перед Рождеством на свою ежегодную жатву, избавят его от этой ноши. Он с облегчением воспринял бы исчезновение чемодана и не стал бы выяснять его дальнейшую судьбу. Акт выноса чемодана в подвал должен был послужить катализатором. Вместе с чемоданом он оставит там свое прошлое. Смысл был именно в этом.

Здесь была его мать в вечернем платье, собирающаяся на ежегодный обед в фирме его отца, такая официальная в своем наряде и с победительным выражением на красивом лице. Это торжествующее выражение лица он помнил лучше всего, хотя случаев, в которых его можно было заметить, он помнил немного. Она была недо-

вольная, разочарованная женщина, слишком долго слушавшая своих религиозных родителей и выбравшая замужество, только чтобы эмоционально выжить. Она всю жизнь завидовала сестре, которая непринужденно сбросила с себя родительские кандалы и, казалось, ничем за это не поплатилась. С привычной тоской мать Герца поддерживала на высоком уровне видимость сложной натуры: не став настоящей пианисткой, она играла на импровизированных концертах в собственной гостиной, и посетители были обязаны с уважением слушать и хвалить ее игру. Герц помнил, как тяжело ему приходилось в детстве, когда она снимала кольца и садилась за инструмент, и даже его школьные друзья должны были сидеть тихо, хотя это давалось им с трудом.

Вот фотография, где она сидит за фортепьяно, повернувшись к невидимой аудитории, с улыбкой на красивом лице; под никогда не снимавшейся и ставшей чуть ли не естественной маской покровительства немногим друзьям наблюдательный взгляд различил бы тоску. Она пережила переезд в Англию, пожалуй, лучше любого из них и в письмах к сестре расписывала, как удобно они устроились в новом доме на Хиллтоп-роуд, упорно игнорируя значительное

сокращение доходов мужа. К тому времени она все свои надежды возложила на Фредди, виртуозность которого в конце концов возвысит ее до того положения, которое позволит ей вновь торжествовать. Все эти пустые фантазии были, как он теперь понимал, направлены против ее сестры, камешки в огород той, кого она подозревала в наслаждении счастьем, почему-то всегда ускользавшим от нее самой.

Здесь она с Фредди, жестом собственницы обнимает его за плечи. Как они были похожи! Большеглазые, торжественные, как будто совершают какой-то магический ритуал, притом что на самом деле репутация Фредди начала страдать сразу же, как начались проблемы со здоровьем, поэтому в Англии он так и не снискал известности, но этот факт его мать отрицала. Она предвидела славное будущее, которое ждет их обоих, как только Фредди справится со своим недугом, который она относила на счет его слабых нервов (в самом нестрашном смысле слова). Он не оправился и, казалось, не страдал оттого, что утратил свой прежний статус. Его странное падение не было зафиксировано для истории. Его звезда померкла, или он сам ее потушил.

Здесь его мать и ее сестра в детстве, стоят под

ручку, чего он ни разу не видел в их взрослой жизни. У обеих ошеломленный чахоточный вид, свойственный детям, когда их заставляют позировать для фотографии, огромные глаза, пышные волосы, свободно завязанные сзади. Они осуждены были сидеть дома, пока их не освободит какой-нибудь мужчина, поскольку в те дни освобождение являлось в образе мужа, получаемого из человека, специально введенного в дом третьим лицом, в данном случае матерью, или, более вероятно, отцом, знающим толк в таких делах. Невозможно было, глядя на эти торжественные младенческие лица, предсказать, что одна из сестер, менее симпатичная, избежит родительской опеки, встретит своего будущего мужа просто переходя улицу — улицу! — по дороге в школу, переживет гнев семейства, родительское осуждение, выйдет за него, когда ей исполнится восемнадцать, после бог весть скольких тайных встреч, и проживет с ним счастливо, пока бегство из Германии не разлучит их навсегда. К тому времени отношения между сестрами, кажется, понемногу наладились. Герцу казалось, что они стали больше общаться, потому что это было время, когда он любил свою кузину Фанни. Живее любой фотографии были его воспоминания о тех

днях в гостиной его тети, когда он ждал, пока появится Фанни, что бывало так редко, и о том разительном контрасте между светом тетиной виллы и мраком квартиры, в которую он должен был возвращаться и в которой не умолкало фортепьяно матери и скрипка брата.

Здесь был его отец в молодости, тоже торжественный, чрезвычайно красивый, задолго до женитьбы, которая обрекла его поклоняться одной немыслимой святыне, слушаться и родителей, и тестя с тещей, и навсегда забыть о наслаждении жизнью мужчины. Он уже сломлен чрезмерным повиновением и согласен, из того же повиновения, связать себя узами брака, который по ходу своего извилистого развития окажется несчастливым. Это красивое молодое лицо вначале станет немного угодливым, после станет измученным заботами, напряженным от постоянных капризов жены и обремененным сознанием того, что его семья в опасности и изгнание неизбежно. Душившие его опасения сделали его излишне снисходительным к детям, особенно к Фредди. Иногда у него на глаза наворачивались слезы, когда он смотрел, как мальчик занимается музыкой. Он тяжело переносил болезнь Фредди, до такой степени, что не мог к нему ездить, и

с радостью свалил эту задачу на Герца. Таким образом, отец и мать отказались от Фредди из страха (или на самом деле это было осуждение?), что Фредди не вернется к ним, не спасет их, не возместит им все утраты, включая утрату самого Фредди. Но в том молодом красивом лице двадцатилетнего отца Герц не мог разглядеть никакого предвидения, никакой обреченности. Таким, человеком с неведомым будущим, он никогда не знал своего отца. Он помнил его измученным, обязанным много спать, помнил с острой жалостью благодарный отказ отца от работы в дневные часы, и как он тяжело поднимался по лестнице в квартиру над магазином на Эджвер-роуд, чтобы вздремнуть, и вновь появлялся через два-три часа, растрепанный и помятый — живой портрет неудачника. Но была здесь и фотография его родителей на каком-то приеме, возможно, что на том же самом ежегодном обеде, для которого его мать так тщательно наряжалась. Они казались жизнелюбивыми и даже дружными, нетерпеливая улыбка отца подчеркивала красоту матери, пойманной фотографом в редком настроении удовольствия, которое вскоре будет утрачено навсегда и почти забудется в водовороте жизненных перипетий.

Здесь были родители его матери, мрачная пара, верившая в каждый религиозный запрет и соблюдавшая даже больше установлений, чем было завещано. У них был почтенный вид, что являлось ложью, комплиментом фотографа; формально одетый мужчина почтительно стоял за спинкой стула своей жены, и его жена, монументальная в черном платье, глядела прямо перед собой без тени улыбки. Никогда, за всю свою жизнь, как Герц смутно помнил, она ни разу не выразила инстинктивную привязанность к кому-нибудь из своей семьи, хотя несомненно оплакивала отступничество одной дочери, при этом крепче вцепляясь в другую. Раз и навсегда было установлено, что эта оставшаяся дочь никогда не должна выходить из дома. Если бы дедушка Герца не сжалился над нею и не ввел в свой дом такого подходящего молодого человека, она бы так никогда и не вышла замуж. Герц вглядывался в их жестокие лица и сам себе признавался в том, что испытывает к ним отвращение, хотя был благодарен богу за то, что они умерли своей смертью, в своем доме, чего не удостоились столь многие подобные им пары. Глядя на них из такой дали, он сумел различить, что делало их столь неприятными: они никогда не знали удовольствий.

Под этой жесткой формальной одеждой были жесткие формальные тела, которые учились держаться на расстоянии друг от друга, объединяясь только ради неких регламентированных целей и сразу же после этого вновь заковывали себя броней запретов с несомненным облегчением.

Здесь была фотография из Баден-Бадена, самая драгоценная из всех, и наконец его детская фотография, где он, в коротких клетчатых штанишках, прижимает руку к сердцу, что ему так часто приходится делать теперь, но на фотографии нет и намека на слабость. У него тоже торжественный вид, но его большой рот даже тогда был склонен растягиваться в улыбке. Эта улыбка перешла в оборонительную, когда судьба его семьи стала ясна, а также примирительную. Она никогда не оставляла его, хотя его собственная судьба была по любым стандартам неясной. Ощущение того, что он счастливо спасся, до сих пор его смущало. В специфической космологии Герца не было счастливых спасений; все хорошее в жизни должно было быть тщательно обосновано, а главное, что ничего нельзя принимать как должное. То, что он сидит в своей собственной квартире, свободный от каких бы то ни было обязательств, казалось ему более безосновательным, чем выглядело со

стороны. Он знал, что этим всем обязан простому везению, и не доверял удаче так пылко, как доверяли ей его набожные бабушка и дедушка. Возможно, что именно от той неприятной супружеской пары он унаследовал свою уверенность в гневливости Бога, а с нею и боязнь, что незаслуженное благо может повлечь за собой самое суровое взыскание.

Более поздние годы их жизни не были зафиксированы на пленке, если не считать фотографии покинутой Хиллтоп-роуд (он сделал своим собственным аппаратом, каким-то образом уцелевшим еще с Германии) и Фредди, усмехающегося и пообтрепавшегося, без малейших следов амбиций его матери, словно он избавился от них одним усилием воли. Снятый кем-то неизвестным, он сидел на Брайтонском пляже, в брюках, завернутых выше щиколоток, в каком-то древнем пуловере, из-под рукавов которого высовывались манжеты рубашки, и улыбался не так, как Герц, в том смысле, что его улыбка свидетельствовала о сознательном и нарочитом отсутствии памяти. Фредди был счастлив! Герцу достаточно было сравнить эту фотографию с теми, где Фредди был в полном концертном облачении, чтобы понять, каким бременем была для его брата прежняя

жизнь, и посочувствовать. Так вышло, что он избежал чувства вины: переезд в Англию перечеркнул его зарождающуюся репутацию, после чего Фредди заболел, и недуг его был достаточно неопределенным, чтобы дать ему передышку. Он также избежал разочарования родителей, ибо они так хотели верить, что он на грани чудесного исцеления, новой зрелости, которая вознесет всю семью к вершинам славы и осушит их слезы. Ради того, чтобы питать эту иллюзию, они так редко посещали его в пансионате, переложив эту задачу на младшего сына, который с самого начала видел, что ни их прежней жизни, ни тем более Фредди не светит никакого возрождения. Иллюзию разделяли лишь родители, это было безумие на двоих, в которое муж был вовлечен в основном из страха перед женой. Эта поздняя фотография Фредди в виде туриста — все, что осталось от его человеческой жизни. И это было настолько невероятно, что Герц долго пристально смотрел на нее, удивляясь, и после неохотно отложил в сторону.

Другие фотографии были не столь интересны: главным образом открытки, купленные во время путешествий, сувениры, первоначальная привлекательность которых исчезла, и репродукции

любимых картин, из которых он видел далеко не все. Птица из катакомб Присциллы в Риме; портрет англичанки в большой шляпе из музея Жакмар-Андре в Париже, купленный из-за веселого, хотя и трогательного контраста между ее неуклюжим обликом и изяществом музейной обстановки; Мане: элегантный вид женщины сзади, еле обозначенный и томящий дальнейшей наготой; почти неразборчивый фриз Пармского собора; пронзительная картина из Национальной портретной галереи: портниха подгоняет юбку на безразличной клиентке, похожей на Фанни Бауэр (черные волосы, темные глаза, вызывающе яркий рот и злое лицо); и фаюмский портрет, который он берег, потому что эту открытку ему прислала Джози. Он представлял себе, как тщательно она ее выбирала в попытке приспособиться к нему, Герцу. Эта открытка трогала его до боли. Он видел в ней и желание угодить, которое она обычно не стремилась проявлять, и, может быть, даже проблеск отзывчивости на красоту, к которой он так стремился. Это было в ранние дни их отношений; он сводил ее в «Коллекцию Уоллеса», и ей было там скучно. Поход не удался. Но два дня спустя она приложила фаюмский портрет к записке, в которой благодарила за приятный вечер. Он

счел это очаровательным жестом, своеобразной данью тому, чего не было в ее душе, но что она признавала частью его мечтательной натуры и озадаченно уважала.

В качестве отчета о прожитом всему этому не доставало последовательности, был лишь намек на великолепие, намек на трагедию, но в конце концов все сводилось к этой усмехающейся фигуре на пляже в Брайтоне. И в этом отчете фактически отсутствовал сам Герц, после детства о его жизни не было никаких свидетельств. Вся предыстория исчезла, школа, отпуск — ничего не осталось. Должно быть, когда-то существовали другие фотографии, которых теперь не осталось, только эти немногие были отобраны, чтобы представлять картину жизни семьи в намеренно лестном свете и завуалировать то банальное житье, которое так огорчало его мать. Видно было, что именно она произвела этот отбор, безжалостно исключив те аспекты жизни, которые ей досаждали. По крайней мере, она оставила хоть какую-то часть для внешнего потребления. Ибо ей тоже нужна была аудитория. Когда она так изящно поворачивалась к фортепьяно, она тоже воображала себе некую публику. Герц унаследовал от нее эту черту, только он под публикой

подразумевал завороженных зрителей, или друзей, которых у него не осталось, или несбыточную возлюбленную, все помыслы которой лишь о нем одном. А раз их не было, то ясно, почему не было больше никаких фотографий. Некому было сказать: «Внимание! Улыбочку!» Он точно так же отсутствовал в жизни других, как и в своей собственной. То, что он сейчас рассматривал, было ему предначертано: терпеливое служение и не менее терпеливое изучение. Он унаследовал печаль своего отца, с которой отец доблестно уходил каждый день на работу и возвращался каждый вечер к своей мифотворящей жене. Однако он, Герц, выучился прагматизму и в процессе обучения достиг состояния, которое было не вполне завидным, хоть и несомненно необходимым. Отсутствие собственных фотографий делало его невидимым и по ощущениям тоже. Таким, вероятно, он и был на самом деле, когда самозванно занимался собственным выживанием, коверкая себя, как только мог, выказывая лишь дозволенное рвение, разрешенную отзывчивость и все же зная, что в любой момент желание может вылезти наружу, может толкнуть его на опрометчивый шаг, которого он не совершил, когда была возможность. Мальчик в клетчатых

штанишках, так поэтично положивший руку на сердце, предвещал пылкого возлюбленного, которым он желал стать, предвещал Нион и его абсурдную выходку. Теперь рука его тянется к сердцу по другим причинам — удостовериться, что таблетки на месте, в нагрудном кармане. До сих пор он ни разу ими не воспользовался. Они были при нем, как защита от опрометчивого шага, который и теперь мог его уничтожить, приблизить состояние, в котором уже не бывает улучшений, стать очередным важным делом, о котором говорил Островский. Своим чередом он подберется к разгадке. Или не подберется, что вероятнее.

Стук в дверь напугал его. Герц торопливо сгреб фотографии в ящик стола, где, как он вообразил, они проваляются, пока он их не выбросит. Больше он их просматривать не намерен.

— Лаура! Как славно. Входите же. Налить вам вина?

Миссис Беддингтон не была частой гостьей или особо желанной, так как обычно она просила его выполнить какое-нибудь поручение, наладить сигнализацию или взять на сохранение к себе в квартиру большой и неудобный пакет, если почтальон зайдет раньше, чем она приедет из

своего дома в Сент-Джонс-Вуде. Хотя Герц, как и большинство мужчин, тосковал по женской ауре, он предпочел бы сформировать эту женскую ауру по своему вкусу — подушевнее и поснисходительнее, что ли, тогда как миссис Беддингтон с первой встречи показалась ему страшно эгоцентричной. Это подтверждалось во время беседы с ней, в которой говорила одна она. У нее было много жалоб, по большей части на людей, которых он не знал, но тон был ему знаком: любого, кто не удовлетворял ее требованиям, она демонизировала. Он полагал, что она использовала эту технику против двух своих мужей. «Оба были негодяи», — утверждала она, но при этом мечтательно улыбалась. Это была красивая женщина с мощной аурой. Он полагал, что в девушках она была даже еще красивее. Теперь ее темные крашеные волосы прибавляли резкости далеко не добродушному выражению лица.

Обычно он уступал ее требованиям, поскольку не мог придумать ничего лучше. Он знал, что она считает его не вполне мужчиной, но полезным для своих далеко идущих целей. Насколько он знал, она успешно занималась бизнесом, хотя у нее в магазине не бывало много народу, зато ее сестра, казалось, заходила каждое утро

и заводила с ней неторопливые беседы, в ходе которых на лицах у обеих возникало одинаковое выражение отвращения. Отсутствие клиентов Герца не удивляло. Он относил это на счет того, что было выставлено на витрине: два или три предмета женского туалета, тревожащие своей формальностью. Шелковые брюки и вышитые туники интенсивно-бирюзового или лазоревого цвета, вряд ли предназначались женщинам моложе шестидесяти и могли служить лишь тому, чтобы поймать в ловушку молодого любовника, из тех, кого привлекает единственное достоинство таких женщин — богатство. Герц не мог не признать, что девушки в мастерской весьма споро украшали эти наряды разной мишурой, которая сверкала на утреннем солнце и выглядела довольно неуместно на благопристойной Чилтерн-стрит. Он не мог представить, чтобы кто-то из его знакомых женщин соблазнился такой одеждой. Даже примерить какое-нибудь из этих одеяний было бы неловко.

— Чем могу быть вам полезен, Лаура? — спросил он. Его рука потянулась к нагрудному карману; фотографии расстроили его. Но вместе с тем он еще не был готов их выбросить.

— Я пришла предупредить вас, Юлиус, что я

удаляюсь от дел.

Оттого, что на самом деле это его нисколько не касалось, а она, очевидно, думала, что должно касаться, он почувствовал некоторую неловкость. Эта перемена ему не понравилась.

— Удаляетесь? Что вас заставляет? Вы еще далеко не…

— О, я знаю, что выгляжу довольно неплохо, — в нашем деле иначе нельзя. Но я устала, Юлиус. Я упорно трудилась всю свою жизнь, пережила два развода; я заслужила небольшую передышку. Я продала магазин, и мастерскую, кстати, тоже. Туда поселится одна молодая женщина. Так что у вас появится новая соседка.

— А я-то думаю, давно девушек не слышно. Но я решил, что они в отпуске.

Она засмеялась:

— Девушки такого сорта не уходят в отпуск. Большинство из них здесь незаконно. Для них большое счастье найти работу. И я думаю, вы со мной согласитесь, что у них были приятные условия работы.

— Что же с ними будет?

— Понятия не имею. Я для них сделала все, что могла. Дальше пусть сами о себе заботятся.

— А магазин?

— Вот это может затронуть и вас. Я продала его фирме, торгующей радио и телевизорами. Филиал… — Она назвала аббревиатуру, которая ему ничего не говорила. — Так что здесь больше не будет такой тишины, к какой вы привыкли. Но так уж вышло: я получила выгодное предложение и приняла его. Теперь мы с сестрой отправимся в круиз. У нее сейчас проблемы с мужем, так что я повезу ее на Багамы. Вы бывали там? Нет, думаю, не бывали. Поедем с ней вдвоем. У нас будет прорва времени.

— Эти перемены меня как-то коснутся? Кроме того, что будет шумно? — Он представил себе незакрытую дверь, разные программы по разным телевизорам, загипнотизированных продавцов, равнодушных к жильцам, а главное к нему, и прохожих, собирающихся перед витриной, чтобы пять минут посмотреть футбольный матч. Ему даже показалось, что он уже слышит рев толпы.

— У вас ведь арендный договор, верно?

— Он через три года истекает, — сказал Герц, и самому сделалось страшно. Он жил здесь, оказывается, уже пять мирных лет. Квартира предоставляла ему возможность начать все снова, как ему сначала казалось. Эта возможность не осуществилась или, скорее, осуществилась в

виде однообразного существования, которое он сам себе устроил. Не то чтобы оно совершенно не приносило ему удовлетворения, однако не увлекало так страстно, как ему все еще хотелось. Теперь, когда оно оказалось под угрозой, он почувствовал, что его скрытая привязанность к дому готова прорваться наружу, и почувствовал за собой право остаться в тех же самых обстоятельствах, какие сложились с тех пор, как он совершил эту авантюрную покупку.

— Я полагаю, вы можете договориться о новом арендном договоре. Кто ваш поверенный?

— Один приятель.

— Смотрите, это вам будет кое-чего стоить. Новый арендный договор будет наверняка дороже старого. Я думаю, вам стоит отсюда съехать, найти что-нибудь такое, с маленьким садиком. — Она взяла ключи и сумку. — Но вы как-нибудь разберетесь, — неопределенно сказала она. — Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о том, что может случиться через несколько лет.

— Не уходите, Лаура. Расскажите подробнее об этой новой жилице. О моей соседке.

— Молодая женщина. Себя называет консультантом. Весьма самоуверенная. Красивая, если вам такие нравятся. — В ее глазах внезапно

вспыхнула ненависть ко всякой женщине моложе ее. Нетрудно было вообразить ее во время круиза: по вечерам она будет переодеваться в один из нарядов одалиски, который не удалось продать ее магазину. Она возьмет с собой ворох таких одежд и создаст образ жизни, которому бы они соответствовали. Он не мог себе представить, на что это будет похоже, но был способен вообразить пышный отдых в еще более экзотичной обстановке. Она покроется бронзовым загаром, осветлит волосы; голос ее станет ниже, ногти длиннее. Она посвятит все свое время собственной внешности, но постепенно утратит то высокомерие, каким всегда отличалась, когда находилась в своем магазине, заведет таких же подружек и будет заразительно и зло смеяться над всем и над всеми. Она займется поисками мужчины, и ее не будет беспокоить, пьющий он или нет, потому что она и сама теперь сможет выпивать. Герц искренне пожалел о достойной, даже недоступной женщине, которую привык видеть сквозь витрину магазина.

Надо полагать, каждая женщина стареет как умеет. Он не особенно задумывался над этим вопросом. Но старение вообще грустная вещь. Единственной женщиной из тех, кого он знал,

которая переносила это бесстрастно, была Джози, хотя у нее самая трудная пора еще впереди. Фанни в его глазах не менялась с девичества, с пятнадцати лет. Даже в Нионе, бледная и немногословная, она сохранила что-то из своей юности, или это ему так показалось. Она была картинна, какими иногда бывают женщины; в этом их нерушимая привлекательность. Это была редкая особенность, и не из самых легкодоступных, она была дарована им другими людьми, всеобщим одобрением, так что им не приходилось трудиться, чтобы ее заслужить. Именно непоколебимая уверенность в себе делала Фанни непроницаемой для чужих мнений. Это была завидная способность или, скорее, неспособность. Что у нее было на сердце, он никогда не знал.

— Вы говорите, консультант? Врач?

— Нет. Какая-то новая работа, которой сейчас, похоже заняты все. Ее фамилия Клэй. Она может вас проконсультировать. Я уезжаю только в конце месяца, так что, может, еще увидимся. А потом — кто знает? Кто вообще знает, что будет потом?

Проводив ее, он снова сел к столу и опустил голову на руки. Он никак не мог отказаться от этой квартиры, хотя она больше его не устраивала. Наверное, он мог бы найти другую, которая

на этой стадии его жизни, вероятно, была бы не хуже. А если он решит остаться, его покой будет нарушен шумом из магазина и звуками чужих шагов. Но ему не улыбалось вновь превратиться в просителя. И он предчувствовал перемены, которые он не сможет контролировать. У новой арендаторши будет более выгодный арендный договор. Вновь может оказаться, что весь мир в заговоре против него, и это, скорее всего, правда. У него оставалось три года в запасе. Мысль, что за это время он может умереть, больше его не пугала. Теперь это казалось ему гарантией безопасности.

10

— Я рад, что ты позвонила, — сказал он. — Я все равно собирался позвонить тебе в ближайшее время, пригласить на завтрак…

— Я не для того, чтобы позавтракать с тобой, — сказала она. — У меня нет времени. Поэтому я и предложила встретиться здесь.

«Здесь» означало кафе «Синяя птица» на Кингс-роуд, куда ей было легче добраться из Уондзуорта и где было посвободнее, чем в их любимом ресторане.

— Я не на машине, — сказала она. — Я шла пешком.

— Пешком? Это приличное расстояние.

— Мне нужно было время подумать. Мне многое нужно обдумать, Юлиус.

Она действительно казалась непривычно задумчивой. Заметно было, что она оделась со всем тщанием: на ней был твидовый костюм, который, наверное, считался стильным лет пятнадцать тому назад. На лацкане ее жакета он с приятным удивлением заметил гранатовую брошь, которую подарил ей на свадьбу. Это усиливало непривыч-

ное ощущение ее зрелости, как будто она училась выглядеть так, как выглядят другие женщины, когда хотят казаться серьезными. Даже ее волосы улеглись в некую прическу. Она пристально глядела сквозь него, как будто заблудившись в собственных мыслях, и совсем забыла про кофе.

— Что-то случилось, Джози?

— Можно сказать, случилось. Во всяком случае, изменилось. Я уезжаю, Юлиус. Уезжаю из Лондона.

— Куда?

— В Мейдстоун, к матери. Она больна. Ей восемьдесят шесть лет, Юлиус, и она живет одна. Кроме соседки, о ней некому позаботиться. Я одна у нее осталась. Так что я еду домой, чтобы за ней ухаживать.

— А как же работа? Том?

Она вздохнула:

— Я слишком стара и для того, и для другого. Я буду скучать по работе, но, пожалуй, я уже мало на что гожусь. В случае необходимости смогу начать свое дело. Но это, конечно, сомнительно.

— Что на это говорит Том?

— Он найдет мне замену, разумеется. И дома, и на работе. Том все еще видный мужчина. Ты знаешь, он ведь моложе меня?

— Нет, я не знал.

— На семь лет. Вначале это не имеет значения, но потом… И я не была счастлива.

— Я думал…

— Нет, — с нажимом произнесла она. — Мне хотелось иметь то же, что другие женщины. Собственный дом. Детей. Ты знал это? Но в вашей обстановке это все было невозможно.

— Мне очень жаль.

— Ну, сейчас уже слишком поздно об этом думать. Мать оставит мне в наследство дом. По крайней мере, это у меня будет. У женщины без активов безнадежное положение.

— Думаю, что независимость — всегда неплохо. Видимо, этого в наши дни хотят все женщины. Это ведь позиция феминисток?

— Мне не все нравится из того, что они говорят. Но здравое зерно в этом есть. Только тут проблема глубже. Женщинам плохо, когда они одни. Мужчинам в этом смысле проще.

— Я бы не сказал. Мужчины очень уязвимы.

— Знаю я, какие они уязвимые. Если им чего захотелось, они долго не раздумывают.

Он знал, что это действительно так, и постарался сменить тему. Ему хотелось взять паузу, чтобы обдумать положение. С жестокостью муж-

чины, захваченного новой идеей, он был рад возможности обсудить свои чувства — какое-то необъяснимое и почти неприятное оживление, зачарованность. Он питал к ним родительскую нежность, сознавая, что если повернется к ним спиной, то упустит нечто такое, что сродни божьему дару. Прожив целую жизнь преданным сыном, он вдруг свежим взглядом посмотрел на возможность насильственно отказаться от своих высоких стандартов и уступить духу опрометчивости, вредоносному духу, который движет большинством мужчин и которым, как ему теперь казалось, он так неблагоразумно пренебрегал.

— На что ты будешь жить? — спросил он.

— Я уговорила Тома назначить мне пособие до… Мать, наверное, скопила немного. — Она замолчала.

— Если я могу помочь…

— Спасибо, Юлиус. Я знала, что ты это скажешь. Ты всегда был очень добр. Мне только на то время, пока я не освоюсь, не выясню, на сколько я смогу прожить.

— Да, конечно. Я сделаю, что в моих силах. Хотя должен тебя предупредить, что смогу помогать тебе только пару лет. Арендный договор скоро

истекает, нужно будет заключать новый. То есть еще неизвестно, останусь ли я тут. — Но он знал, что останется, что теперь у него появились новые причины остаться.

— В твоем возрасте никуда переезжать не захочется. Я сама не хочу переезжать.

— Пока что квартира мне не надоела, хотя я выбирал ее второпях и одному мне было почти все равно где жить. Но у нас тоже перемены. На первом этаже теперь другой магазин, и я боюсь, станет очень шумно. Еще у меня новая соседка, хотя я плохо ее знаю. Софи Клэй. — Он сказал это ради удовольствия произнести ее имя. — Конечно, я дам тебе знать, если у меня сменится адрес. Ты должна дать мне свой. Когда я тебя теперь увижу? Ты ведь будешь приезжать в город, я надеюсь?

— Я не уверена. В жизни женщины наступает время, когда ей больше не хочется стараться, а хочется оставить волосы как есть, ходить в удобных ботинках, прекратить попытки привлечь мужчин. Но все же это довольно грустно. Ты утрачиваешь будущее. Я заметила это в женщинах, которые уже сложили оружие. Мужчины, наверное, держатся дольше. Часто видишь глубоких стариков, которые смотрят на относительно мо-

лодых женщин так, словно еще могут что-то им предложить. В смысле, что они еще мужчины.

— Женщины, как известно, используют это в своих интересах.

— Только умные. Большинству женщин хочется любви.

— Я любил тебя, Джози.

— Я знаю. Поначалу я была счастлива. Но…

— Знаю, все знаю. Я тоже бешусь, когда думаю о прошлом. Одна радость, что мы можем время от времени вот так встречаться. Теперь у нас, кажется, отношения лучше. Просто не могу представить себе, что больше тебя не увижу.

— Мне тоже будет тебя не хватать.

Он видел, что это правда, что ей будет не хватать того статуса, которым он ее когда-то оделил, гарантии того, что она прожила самую обычную, но оттого не ставшую менее ценной, жизнь и наплевала на общественную рекламу, которой прикрывалась во времена сомнений, неудачи, волнений и даже одиночества. В молодости она была особой решительной, практической. Прежде всего практической. Он думал, что она пришла к замужеству из прагматических соображений, устав от постоянного общества таких же, как она, женщин в маленькой квартирке. Теперь

он видел, что, помимо этого ей также было не чуждо самокопание, что она размышляла над утомительными поучениями в женских журналах, заполняла анкеты и видела, что в целом разделяет общепринятую точку зрения: мол, нужно стремиться, лезть вон из кожи, иногда безо всякого успеха, и однажды наступит день твоего торжества. Вероятно, такими же представлениями жила его мать, и уж наверняка — его бабушка. Он также знал, что за этим моментом торжества наступает разочарование. Но сам момент был важнее всего. Даже он это сознавал.

Мужчины, подумал Герц, женятся по разным причинам: на основании сходства судеб, или родства душ, или желания самоутвердиться. И все-таки ему хотелось думать, что мужчины влюбляются чаще, и порой с более разрушительными последствиями. Свидетельством тому был его собственный случай, рассказать о котором ему мешало запоздалое чувство приличия. Он был достаточно учтив, чтобы понимать, что обсуждать это не следует: он слишком долго был один, чтобы не понимать, сколь полной потерей собственного достоинства грозит такое обсуждение. Однако другие мужчины не годились для таких нужд, а отсутствие необходимого

доверенного лица могло привести к дурацким выходкам. Он не мог себе позволить роскошь признаться той женщине, которая когда-то была его женой, в чувствах к другой. Он даже с неким самодовольством думал о том, что не поддался этому импульсу. В то же время ему бы хотелось разобраться в своем эмоциональном состоянии на каком-нибудь более располагающем фоне, чем это полупустое кафе холодным утром холодного дня. Им обоим было нелегко, но ему казалось, что его участь лучше. Он отдал бы Джози все свои земные блага и считал бы цену оправданной, если бы взамен мог наслаждаться этой новой перспективой без осуждения. Он был достаточно бдителен, чтобы понимать, что осуждение ему грозит и не только со стороны Джози. Если бы та аудитория, которой он когда-то жаждал, узнала о его положении, насмешкам не было бы конца. Честь требовала, чтобы он молчал. Об откровенности не могло быть и речи.

Его самая драгоценная тайна, которую он должен был держать при себе, состояла в том, что после долгих лет бессилия он вновь смог почувствовать желание. Вряд ли какая-нибудь женщина могла оценить этот факт, этот неожиданный подарок. Он вдруг понял, что мир не то

место, где каждый человек должен делать все, что от него зависит, но арена анархии, импульсов, идущих вразрез с общественным благом, и что все мужчины и женщины делятся на тех, кто уже это понял, и тех, кто не прошел испытания. Он с отвращением смотрел на религиозные предписания, предназначенные для того, чтобы закабалить, ограничить свободы, являющиеся частью человеческой индивидуальности. Он поражался тому, что снова стал способен оценить физическую красоту, так что чужое лицо приносило ему удовольствие, как будто это конкретное удовольствие могло быть связано с иным. То, что пока еще не было принимающей стороны для этих новых необузданных чувств, его нисколько не беспокоило. Достаточно было знать, что есть посредник, который может подтвердить, что они не просто плод его фантазии.

Тут Герц заметил, что Джози изучающе на него смотрит. Он засмеялся, покраснел, отпил холодного кофе.

— Извини, я что-то задумался. Мне есть над чем подумать. Этот арендный договор…

— А в чем проблема? Ты что, не можешь его оплачивать?

— Я не знаю. Это действительно проблема, как

ты выразилась. Немного беспокоюсь. Я не хочу переезжать, да и не надо, наверное. Но от перемен никуда не деться. И никому. Да нет, я думаю, все образуется. Но как же ты? Как ты будешь жить?

— Что ж, в конце концов у меня будет свой дом. Наверное, найду себе работу.

— Что-то определенное?

— В идеале я бы хотела открыть частную лечебницу. Я ведь все-таки медсестра.

— Это потребует больших денег, — мягко сказал он.

— О, не волнуйся, я не прошу у тебя. Очень мило с твоей стороны предложить мне помощь.

— Если со мной что-нибудь случится, свяжись с Бернардом Саймондсом. Он живет в квартире на Хиллтоп-роуд. Забавно, это место, кажется, навсегда связано с нашей семьей. Он мой поверенный, и он скажет, где меня найти. Имеется в виду, если я перееду.

Наступило молчание. Герц праздно наблюдал за тем, как официанты накрывают столы к обеду. Где-то на задворках сознания у него было подозрение, что он поступает с Джози не совсем справедливо, и ей это известно. Она пришла на это свидание, готовая к серьезному разговору о деньгах, а вместо этого натолкнулась на по-

спешные и даже небрежные уступки. При этом он даже не мог толком уделить ей внимание. Куда-то подевалось желание улучшать жизнь, делать то, что от него требуют, и Герц не стремился его восстанавливать. Он видел, что Джози не очень порадовала его реакция. Он также видел, что она вообще несчастна, в общем смысле, и что причину этого он должен выяснить. Ее решение уехать придало ей какое-то новое достоинство. Однако это достоинство не могло появиться из-за такой непосредственной причины, как ухудшение здоровья матери. Скорее, оно родилось из самоотречения.

— Что с тобой, Джози? — негромко спросил он.

Она печально улыбнулась:

— Ведь это никогда не проходит, правда?

— Извини?

— Эта тоска по другому человеку.

— Не по мне, как я понимаю.

— Нет, нет, не по тебе. И даже не по Тому. Есть один мужчина, который заходит к нам в офис. Мы с ним иногда выпиваем. Женатый, конечно. Но нам с ним так хорошо… — Она прервалась. — Зря я тебе все это рассказываю.

— А почему бы тебе не прояснить ситуацию? Поглядеть, что из этого выйдет?

— Посмотри на меня, Юлиус. Я старая. Я с этим вполне свыклась. Что меня удивляет, так это то, что я до сих пор питаю какие-то надежды, жду встречи с ним и на большее не рассчитываю. Я теперь не могла бы раздеться для мужчины. Как я уже сказала, я с этим вполне свыклась. Болезнь матери, вероятно, послужила толчком, которого мне не хватало. Как только решение созрело, я поняла, что оно спасает меня от страшных переживаний. Возможно, даже от унижения. Я все-таки еще не утратила чувства собственного достоинства.

— Я тобой восхищаюсь. Я-то знаю, как тяжело бывает сохранять достоинство.

— Значит, ты считаешь, что я права?

— Видимо, да. И я понимаю, что ты имеешь в виду. Сохранять достоинство приходится в одиночку. И всегда так хочется на него плюнуть. — Пожалуй, это он зря сказал. — Когда я теперь тебя увижу?

— Не знаю. Я буду тебе позванивать время от времени, чтобы поддерживать связь.

— Когда ты уезжаешь?

— В следующие выходные. И до этого мне надо переделать кучу дел.

Она взяла сумку.

— Я не прощаюсь, хотя, может быть, и стоило бы. Береги себя. Думай обо мне иногда.

— Ты часть моей жизни, Джози, и всегда ею будешь. — Он знал, что это правда, и был взволнован, как и она. Они обнялись с большей теплотой, чем привыкли проявлять. Он смотрел, как она уходит, видел, что она пригнула голову, потом решительно повернула в противоположную сторону.

Она была права: достоинство действительно важно. Но так же важен и импульс от него избавиться, как он узнал после своего недавнего пробуждения. Это мимолетное видение того, что он про себя называл языческим миром, одновременно освобождало и тревожило. Оно имело отношение к сексу, даже к намерению заняться сексом, и все же он предпочитал считать это любовью, как ее понимали древние, или, возможно, просто доброй волей, хотя с волей тут было не много общего. Он знал, что рискует потерять голову, что, возможно, уже потерял, но отдался своим ощущениям и даже приветствовал их. Он чувствовал себя заново вернувшимся в мир мужчин, хотя его положение в этом мире было скорее положением евнуха или прислужника во дворце. С тех пор как монотонность его дней чудесным

образом осветило появление Софи Клэй, он заново увидел явления, которые до того считал чем-то само собой разумеющимся: движения, места и звуки, погода, лица, к которым он давно привык и в которых теперь читал непривычное радушие. Он говорил себе, что его интерес к ней сугубо невинен, что он просто получил шанс опосредованно прожить жизнь молодого существа. То, что это молодое существо было женщиной, особенного значения не имело, поскольку манила его именно сила ее молодости: жизненная сила, говорил он себе, еще пока что эта сторона уверенности в себе. Ее приезд был захватывающим, как видение. Грохот на лестнице заставил Герца выйти из квартиры, поскольку он решил, что кто-то ломится в дом. Путь ему преградила тяжеленная сумка, за которой стояли двое молодых людей, мужчина и женщина. Он заметил, что они оба были чрезвычайно красивы и довольно похожи: ему показалось, что это брат и сестра, но брат и сестра из какой-то легенды про кровосмешение. Он предложил свою помощь, заволок сумку в нижнюю квартиру, выпрямился, стараясь не замечать одышки, протянул руку и представился. Юлиус Герц, сказал он; я полагаю, мы соседи. Софи Клэй, ответила она. А это — Джейми. Ваш

брат? — спросил он. Они оба рассмеялись.

Что ж, сказал он в некотором замешательстве, я вас оставляю, устраивайтесь. Если захотите кофе — я живу прямо над вами. Кофе — это здорово, сказала Софи Клэй. Он успел заметить, что в ее квартире было совсем немного мебели, кроме большой кровати и непомерного телевизора. Нам надо познакомиться поближе, сказал он, раз уж мы живем поблизости. Она удивленно подняла на него глаза. Я не собиралась надолго здесь задерживаться, сказала она, но за кофе спасибо, я зайду. Тогда жду вас обоих. На Джейми не рассчитывайте, сказала она: Джейми как раз собирался на работу. Она страстно поцеловала молодого человека, провожая до двери. Приятно было познакомиться, сказал Герц в спину уходящему, и вскоре по улице зазвучали тяжелые шаги. Мгновение спустя он услышал, как хлопнула дверца автомобиля и отъехала машина. Он заметил, что к той сумке, которую он тащил, прибавились другие, и, как мог, переправил их тоже. Обычно после таких упражнений он бы тихонько сидел, пока сердце не вернется к нормальному ритму. Вместо этого с легкой дрожью в руках он пошел к себе на кухню готовить кофе. Он предусмотрительно поставил на поднос тарелочку с печеньем,

надеясь приятно провести время, не больше. За газетой можно сходить и попозже.

Когда они сели по обе стороны подноса с нетронутым печеньем, у него появилась возможность разглядеть, что она красива той серьезной и неискусственной красотой, какую он немедленно счел притягательной. Он сказал себе, что любой мужчина на его месте так же восхитился бы ее неяркими правильными чертами и зачесанными назад волосами. Она выглядела так, словно только что встала с постели и собирается проходить день в таком вот небрежном виде. Это совсем не вязалось с его представлением о женщинах, которые, казалось, постоянно думали о том, как бы подать себя в благоприятном свете. Даже Джози в самом начале их супружеской жизни проводила время перед зеркалом, чесала свои непослушные волосы, красила губы. Именно бледные губы этой девушки показались Герцу особенно завлекательными, особенно когда они раскрылись, обнажив безупречные зубы. Она представилась, вручила ему визитку, на которой значилось «Софи Клэй. Независимый финансовый консультант». О, сказал он, какая удача: может быть, вы меня проконсультируете. Она без улыбки взглянула на него и сказала, что работает

в Сити, консультирует различные компании на внештатном основании; она не занимается частной работой. О, какая жалость, сказал он, удивляясь веселым ноткам в своем голосе; я бы с удовольствием у вас проконсультировался. Она приподняла одну бровь. Не пришлось бы далеко ходить, добавил он, чувствуя себя дураком. Что касается здешних порядков, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Обычно я по вечерам дома, а с утра уж точно. Ему было приятно думать о том, как она в своем черном брючном костюме движется среди тех мужчин, что работают в финансовых учреждениях, как они отрываются от своих бумажек, чтобы оценить ее маленькую подтянутую фигуру, прежде чем вернуться к своим вычислениям. Приятно было думать о том, как она каждое утро выходит на работу со своим портфелем и возвращается вечером в их общий дом. Он совсем не старался делать так, чтобы время его выхода совпадало с ее, но бывал доволен, когда это случалось. Кроме того, ему нравилось быть ей полезным, держать у себя ее запасные ключи, расписываться за заказные письма, передавать плату для Теда Бишопа. Ее серьезность, которая была самой привлекательной ее особенностью, несколько испарялась поздним

вечером и, как это ни прискорбно, ночью, когда в ее квартире бывал Джейми. Это оказалось намного более навязчивым, чем смех и болтовня во дворике, который был теперь оборудован столом и стульями, а иногда приемником, настроенным на иностранную станцию. Он нисколько не возражал против друзей, которых она приглашала на вечер и чьи крики и смех были отчетливо слышны. Казалось, они не чувствовали холода; иногда они еще сидели там после того, как он ложился спать. Это ему как раз нравилось — снова эта безлюдная тишина заполнялась звуками жизни. Гораздо меньше ему нравилась возня в спальне прямо под ним. При этом наутро она казалась деловитой, даже грозной, когда шла на работу с портфелем и «Файнэншнл таймс» в руке. Он слышал, как ее каблучки удивительно громко стучат по тротуару и стихают в отдалении.

Он говорил себе, что его интерес к ней был отеческим, хотя он осознавал ее красоту как любой мужчина. У него не было ни детей, ни внуков, и эта девушка, которой то ли под, то ли чуть-чуть за тридцать, могла быть его внучкой. Эта мысль пробудила другие: сожаление о прежней добропорядочности вместе с настойчивым желанием хоть чем-то вознаградить себя, пока еще не слиш-

ком поздно.

Чем именно, он понятия не имел и при этом был не настолько глуп, чтобы фантазировать. Он впервые почувствовал тоску по такой любви, которую должны испытывать лишь молодые. Он старался не замечать собственной немощности, своего высокого нескладного тела, больших красных ладоней, толстых вен, исчертивших сухие безжизненные руки. Присутствие под одной с ним крышей молодого существа оставляло его мысли вполне целомудренными, но стоило ему выйти на улицу, как он с удивлением ловил себя на почти похотливых проявлениях. Они не были связаны только с персоной Софи Клэй: он повсюду замечал женщин, которые предлагали почти забытую возможность наслаждения. Это было замечательно; в эти минуты он наиболее полно ощущал себя мужчиной. Он приветливо помахал женщине за прилавком в химчистке и с удовлетворением получил в ответ ее улыбку и поклон, словно бы она приняла долгожданное приглашение. То же самое произошло с девушками в универсаме, которых он теперь полюбил поддразнивать. Все это было ново и восхитительно. Лишь изредка он осознавал нелепость ситуации. Тогда он принимался себя бичевать:

кокетливый старик так же смешон, как рогоносец в жестоких драмах, которые он учил в школе и помнил с неприятной отчетливостью. И тогда меланхолия потихоньку отвоевывала позиции. Он приветствовал ее возвращение и в то же время решительно намеревался сохранить бесстрастие и даже находил в своем положении что-то забавное. Он превратил себя в объект изучения и проводил, не совсем бесплодно, вечера, препарируя собственное поведение. Это помогало восстановить спокойствие, но не помогало избавиться от понимания потенциального ущерба.

Во всей этой путанице новых или непривычных чувств было важно сохранить Софи Клэй. Наверное, то, что он чувствовал, было бы понятно любому, кто прожил столько же, сколько он: сожаление вперемешку с алчностью и влечением. Стариков вдохновляют неомраченные лица молодых, но при этом они также обижаются на них и даже хотят причинить им хоть какой-нибудь ущерб, пока еще не погасли их собственные импульсы. Именно поэтому старики так часто сыплют язвительными замечаниями насчет молодых, осуждая поведение, какого им самим уже не потянуть. И самыми жестокими судьями были те, кто никогда не сбивался с пути. Герц к

ним не принадлежал, но носил печать старой системы образования, которая теперь казалась яркой в силу своей старомодности. Лейтмотивом этой системы было уважение — проявлять его, подчиняться ему во всякое время. Он вообще поражался, что сумел приобрести хоть какой-то опыт, но он заметил, что жизнь знает способ пробить стены самой ревниво охраняемой цитадели при помощи той щепотки анархии, которую одни находят невыносимой, а другие, в том числе и он сам, благословенной, дарованной свыше. Из книг он знал, что природа немилосердна, она не пресекает попыток соединить несоединимое и даже иногда поощряет безумцев ради того, чтобы посмеяться, подобно античным богам, которые любили подшутить над смертными, чтобы их же глупость мягко направляла их на путь истины. И все же как это оживляло — разделить на короткое время точку зрения этих самых богов, вооружиться грубостью, которой не было в его сентиментальном образовании, отправить все свои принципы куда подальше и отмести осторожную иерархию обязательств, которые так стремится наложить на человека общество. Все это было чудесно и желанно, как последнее мгновение блаженства перед тем, как окончательно

теряешь сознание.

И все-таки, когда он стоял у окна и ждал возвращения Софи, ему было неловко. С какой стати он прятался, как только видел, что она стоит на перекрестке и собирается переходить улицу? Почему Джейми, ее периодический сожитель, вызывал у него такую антипатию? Когда в постели до него доносились интимные звуки, он мучился вопросом, как бы потактичнее намекнуть ей об этом. Напомнить разве, с простительной небрежностью, что звукоизоляция в этом доме никудышная? Нет, это не пойдет. Ему, как это ни смешно, нравилось чувствовать себя соучастником. А она не станет менять своего поведения, поскольку он подозревал в ней жестокость, которой она пока никак не проявляла. Единственное, что она проявляла, это безразличие к нему, как к суетливому соседу, который бывает полезен по мелочам и к которому она не питает ни малейшего интереса. Он плохо спал, просыпался по нескольку раз за ночь, позорно прислушиваясь, не доносится ли снизу возня. Когда она уезжала на выходные, он почти радовался.

Но даже тогда он стоял у окна, ожидая ее возвращения.

11

По мере того как тоска его нарастала, Герц вставал все раньше и раньше. Только на темных улицах, в пустом незвонком воздухе, его зарождавшиеся чувства достигали относительного равновесия. Он шел и думал о том, как долго он сможет выдержать такую степень напряженности: видно, прошлое дразнило его за глупость. Он все еще был достаточно вменяем, чтобы понять, что, позволив себе это кратковременное помрачение рассудка, он сможет сохранить хоть каплю самообладания на остаток дня. Иногда он находил силы обзывать себя старым дураком, каковым несомненно являлся; чаще он воскрешал фрагменты того волнения, которое впервые побудило его раскрыться, раскрепоститься. Он смутно подозревал, что ему что-то мешает, что он стоит большего, чем то бледное подобие жизни, которое досталось ему в наследство, хотя жизнь эта основывалась на самом разумном из предписаний. Он не пренебрегал своей обязанностью или обязанностями: он наилучшим образом использовал то, что ему досталось. Он никогда не

считал себя достаточно свободным, чтобы иметь выбор.

И, видимо, эта проблема лежала в основе его нынешней дилеммы. Жизнь человека, соблюдающего правила, не подразумевает опрометчивого счастья.

С реалистической точки зрения, все, чего он мог ожидать, — это приятная стимуляция в виде наблюдения за молодой жизнью, какую испытывает любой отец или, скорее, дед. С нереалистической точки зрения, он жаждал удовольствия, возможно даже ради самого удовольствия, хоть какой-то награды за осторожность всех предшествующих лет. Неподобающие образы являлись ему и приносили краткое, но тайное наслаждение. В такие моменты он был благодарен обыкновенности обеих сторон улиц, безмятежных в этот час, когда нет никого, кроме молодых людей таинственного вида, моющих окна сонных магазинов. Вновь поворачивая к дому, он уже мог вернуться в самого себя и при помощи физической усталости снова стать неотличимым от остальных пешеходов, одним из тех, кто в этот час выходит из своей частной неподконтрольной жизни и считает нормальной предлагаемую цену за присоединение к толпе. Уже появлялись автомобили, наполнялись

служащими автобусы; скоро день погрузится в деловую суету, и он снова наденет привычную маску. Ему поможет рутина, и он понимал, что рутина должна сохранить его рассудок. Ибо то, что ему грозило, было, несомненно, безумием. Он никогда не был подвержен таким сильным чувствам. Однако даже теперь, снова придя в себя, он улавливал эхо того, что их вдохновляло: чистейшие бездумные эгоистические интересы.

Последовательный поклонник Фрейда, Герц питал глубокое уважение к бессознательному и побудительным мотивам и даже умел вводить в игру высшие соображения. Теперь, однако, все это ему не давалось. Подходя к дому, он просто гадал, встретится ли с Софи на лестнице или для нее еще слишком рано. Он достаточно владел собой, чтобы не изобретать причин для встречи, не задерживаться, не бросаться с приветствиями или с объяснениями своего присутствия, где этого не требуется, понимал, что не должен даже расхаживать взад-вперед по одному и тому же участку мостовой по вечерам, когда она предположительно возвращалась домой. Самое большее, на что он мог надеяться, было что-то из области непредвиденного, нежданного, вроде тех, довольно частых, случаев, когда у нее закан-

чивался хлеб, или молоко, или что-то еще из тех жизненно необходимых вещей, которые у него не переводились. Хотя у него хранились ее запасные ключи, он ни разу не позволил себе проникнуть в ее квартиру и не собирался: сама идея была ему противна, как такому же собственнику. Джейми его не беспокоил. Вообще он не видел в нем достойного соперника — не мог Джейми тягаться с Герцем масштабами своих предрассудков. Он сделался чуть более бесцеремонным, чем обычно, хотя иногда удивленно вскидывал голову, словно его внезапно разбудили. Когда ему задавали вопрос, пусть самый простой — «Таймс» сегодня запаздывает, не возьмет ли он «Телеграф»? — ему требовалась пара секунд, чтобы сообразить, что ответить. Он полагал, что это приближает его к приемлемому стереотипу эдакого безобидного, рассеянного, немного забывчивого старикашки. В такие минуты его охватывала печаль. Он больше не хотел ни с кем откровенничать и был даже рад, что для этого уже не было возможности. Изредка он думал о Джози — как она там поживает в маленьком домике матери, ни с кем не делясь своими мыслями. По иронии судьбы, в момент почти одинакового сожаления не было никакой возможности обсудить вдвоем такие

вопросы, посочувствовать друг дружке, с грустью признать один и тот же характер своих раздельных одиночеств, вновь стать близкими людьми.

Он впустил себя в квартиру, собираясь провести там большую часть дня, пока вечер не выпустит его на очередную прогулку. То, что она была напрямую связана с возвращением Софи, больше не являлось для него секретом: он беспокоился лишь о том, чтобы при встрече поднять руку в знак приветствия, боясь потока слов, которые могут за этим последовать. В тот вечер прогулка успокоила его и некоторым образом подготовила к ночи. Утро застало его в смятении, как будто он все еще был молод и в рабстве у собственного тела или как будто он все еще был несколько моложе и его пугали проявления этого тела. Дни, напротив, проходили мирно. Он пересматривал бумаги на столе — старые записи, полученные или неотправленные письма, — как будто готовился к отъезду, к отсутствию. В глубине души он чувствовал, что, наверное, ему придется переехать, если окажется, что его будущее в этой квартире под вопросом. Пока что не было никаких признаков того, что он не сможет выплачивать по новому арендному договору; никто ничего не требовал, никто не присылал никаких документов. Вообще

казалось, что никто не знает о его существовании. Но он достаточно сталкивался на своем веку и с выселением, вроде того, которое затронуло его в ранние годы, и с устной договоренностью, как в случае с Эджвер-роуд, или, хуже того, с общежитием Фредди в Брайтоне, а потому чувствовал себя неуверенно и вновь готовился к обороне. И все же, склонившись над какой-нибудь газетной вырезкой, которую по каким-то причинам хранил в папке, он не мог себе представить, как более плодотворно можно убить время, и бывал почти изумлен, когда ранние сумерки напоминали ему, что таким вот дням, возможно, грозят перемены. Именно тогда перспектива вечерней прогулки, а еще вернее — безымянная компания незнакомых людей — возвращала его самому себе, так что к вечеру он успокаивался настолько, чтобы забыть урон, понесенный утром, забыть рассветные часы, когда его примитивный и дикий близнец мог пробить скорлупу и уничтожить весь строй его жизни.

Нельзя сказать, что он хотел заполучить Софи Клэй для своих целей, не важно, был или не был у него такой интерес. Он хотел, чтобы с ним был образ возлюбленной, почти абстрактной возлюбленной. Герц не знал, допустима ли

такая иллюзия, была ли она чем-то большим, чем фантазия, которая, по-хорошему, должна бы владеть лишь молодыми и ограничиваться нелегкой порой возмужания. Но он был достаточно начитан, чтобы знать, что неутолимая страсть служила материалом не просто для романов, а для самых серьезных произведений классической литературы и что хотя это почти наверняка слабость, она придает ему некий налет героизма. Он чувствовал себя ближе к другим мужчинам, когда гулял в ранние утренние часы, а не тогда, когда за столом мирно занимался сортировкой ненужных бумаг, от которых никак не мог найти силы отказаться. Он вновь соблазнился пересмотреть фотографии и при этом обнаружил в них новый пафос, который его разоружил. При всей своей непокорности его утреннее «я» было ему любезнее — более зверское, но и более честное. Его дневная жизнь была уже стариковской. Когда он просыпался, от беззакония своих мыслей он был почти молодцом. Так, собственно, всегда работают мужские мозги. Он не обманывал себя, что может быть для кого-то опасен или даже для себя, хотя за это поручиться труднее. Он думал, что вполне справляется. Единственное, что больше уже не было эйфории. У него больше не было

никаких волнующих чувств, только все более и более мрачное знакомство с самыми глухими уголками своего мозга.

Когда почтальон принес пакет для Софи Клэй, Герц машинально принял его, не думая о том, что это даст ему повод увидеть ее вечером, но радуясь, что это придаст дню некоторую форму. Дальше, стало быть, можно было посвятить время мирному ничегонеделанию, попыткам совладать с нетерпением. Он даже признался себе, что устал от капризов собственного настроения и почти нежно подумал о том, как проводил раньше послеобеденное время в Национальной галерее, — теперь она была для него закрыта, — и окунулся в фальшивую гармонию воспоминаний, хотя не мог уже вызвать в себе былые чувства к знакомым образам. Он знал, что те дни не воскресить, что, если он вновь захочет пройти той же дорогой, притворившись тем, кем он был когда-то, картины потеряют свою власть над ним. Его невидящий взгляд упрется в их пустую поверхность. Это было бы противоестественно; его реакции будут ограничены, ослаблены, а если не ослаблены, то досадливы. Он уподобится Фредди, который с радостью отказался от своей возвышенной натуры, чтобы

поддаться импульсам, более близким его душе. Он был не так отважен, как Фредди, избравший временное, ограничивший себя. Он по-прежнему любил свой маленький уют и беспокоился, что ему придется вновь оторваться от корней. В то же самое время он знал, что его непокой даст ему силы разобраться с новыми требованиями, если таковые возникнут. Совершенно неожиданным побочным эффектом его невыносимого положения была способность жить сегодняшним днем, оценить преимущества суматохи перед тишиной и покоем и при этом быть наготове, настороже, начеку и даже на полном ходу.

Посылка для Софи оказалась большой и громоздкой. Он втащил ее в квартиру, мимоходом задав себе вопрос, как на это отреагирует его сердце. К середине утра он уже был как выжатый лимон, и казалось, больше не сможет даже пошевелиться. Когда появился Тед Бишоп в сопровождении малолетнего внука, они пробудили его от того, что сильно напоминало кратковременный транс.

— Ничего, что я привел Тедди? Не с кем было его оставить.

— Я только рад, — сказал Герц, радуясь появлению живого ребенка после бесчисленных

фантомов. — Хочешь порисовать, Тедди? — Молчание, потом кивок. — Сейчас приготовлю чай. Сегодня уборки немного, Тед, — бросил он через плечо, входя в кухню. — Просто слегка пройтись тряпкой. Может, окна помоете? Но если вам это сложно, то не надо.

— Нет, у вас и так все блестит. Не то что у вашей соседки снизу. Она там такое развела… — Он неодобрительно пощелкал языком.

— Поди сюда, Тедди, — сказал Герц, подхватывая тяжелое маленькое тело, и усадил мальчика за свой письменный стол. — Вот тебе красивый красный карандаш. — Он взял кулачок мальчика с карандашом в свою руку и начертил неровный круг. — Теперь попробуй сам, а я посмотрю, что у тебя получится. — Но малыш водил рукой слишком неуверенно, карандаш не оставлял на бумаге следов. По счастью, карандаш сам по себе служил неплохим развлечением. Помахав им вхолостую над листком, мальчик с яростью художника швырнул и карандаш, и листок на пол. Тед Бишоп выдохнул дым, громко закашлялся, потушил сигарету и наконец приступил к более или менее продуктивной деятельности. Герц забрал пепельницу, вымыл ее и убрал в ящик на кухне, где ей полагалось лежать. Его тяготила

необходимость развлекать этих двоих, когда на это просто нет сил. Он хотел, чтобы они скорее ушли, поскольку он не мог уделить им должного внимания, хотя малыш, чувствуя себя совсем как дома, протопал через гостиную в спальню, явно намереваясь вытащить книги с полки и играть ими как кубиками.

— Вот стервец, а? — заметил Тед. — Ну, вроде бы все. На следующей неделе приберусь получше. По правде говоря, спина у меня побаливает. — Подробное описание симптомов, которое обычно выслушивал Герц, на этот раз было, пожалуй, короче, чем всегда, и менее интересным. Герц был странно рассеян, не мог сосредоточиться на том, что ему говорят; в любом случае он все это уже слышал раньше. Он достал бумажник — обычный знак того, что утренняя уборка закончена и полностью его удовлетворяет, даже если это и не так. Он вручил мальчугану красный карандаш, взъерошил ему волосы и твердо проводил к двери.

— Ну, значит, до среды, — сказали они с Тедом хором, как всегда. После чего Герц наконец запер дверь, отогнал все лишние мысли и позволил себе краткую передышку, как всегда во второй половине дня, пока не начинало смеркаться и

день не уходил, оставляя лишь тень потерянного покоя.

Он со вздохом поднялся, умылся, причесался и вышел на вторую за день прогулку. Жизнь, бурлившая на улицах в час, когда все возвращаются с работы, несколько взбодрила его. Больше, чем его бесплодная одержимость, Герца угнетал этот уклон в секретность, то, что его отсутствия рассчитанно совпадают с отлучками Софи Клэй, а присутствия практически сводятся к слежке. Природа сыграла с ним свою обычную шутку: парение духа и сразу же жгучий стыд, и, хуже того, сознание собственной нелепости. Но еще хуже была связанная с этим напряженность и подозрение, что это должно достичь, и уже достигает, некой кульминации, что он будет ввергнут в еще большее безумие явной потребностью в разрядке и что рано или поздно он допрыгается. Своим рациональным умом он представлял ее себе такой, как она есть, ни больше ни меньше: хорошенькая девушка современного типа, холодная, деловитая, независимая, безразличная к комплиментам и почестям, которая сама делает свой выбор, прекрасно знает свои права, не берет на себя обязательств, принимает добровольные жертвы и видит свое будущее как несложное,

прямое продвижение к той цели, которую сама перед собой поставила.

Постичь ее мысли было невозможно: он просто не знал, как работают мозги у этого конкретного поколения. Он стал теперь представителем слабого пола и пропускал сигналы, на которые прежде отвечал: те легкие изменения интонации, те приветливые улыбки и прочие проявления приязни, те изящные знаки физической доступности, которые он некогда умел расшифровывать. Теперь все было устроено по-другому: мужчины должны остерегаться своих естественных порывов, авансов, даже жестов. Если ты пропускаешь даму вперед или уступаешь место, это расценивается как опека, если поддержишь под локоть — как нежелательная смелость. Или, возможно, они зашли еще дальше, забрались в еще более глубокий солипсизм, отгородившись броней от всего, что они ощущают излишним, отвлекающим, в избыточной потребности соответствовать — другим стандартам, не ими заданным, — в некоем загадочном интуитивном осознании общей цели. Оставаясь собой, женщины в строгих костюмах захватывали и даже завоевывали мужскую территорию, занимались любовью без раскаяния, не ждали милости от удачи, и стареть они будут

иначе, зная, что не совершили никаких ошибок, не поступились своей гордостью, не обременили себя устаревшими порядками или процедурами, остались свободными.

Конечно, женщин его поколения читать было легче, как и мужчин. Но их хорошие манеры, их верность родительским стандартам влекли за собой тяготы принужденности и тех минут, когда их чувства предавали их и приводили к такой сокрушительной опрометчивости, как в его случае. Люди его поколения умели пойти на компромисс, сознавая его мудрость, заводили семьи и дома, возможно, с теми, кто не соответствовал их представлениям об идеальном возлюбленном или соратнике. Таким способом люди его поколения достигали нормальности, принимали стремления большинства, как это сделали они с Джози. Беда в том, что они так и не эмансипировались настолько, чтобы потом, в самый неподходящий момент, их мучительная тяга к свободе — в наиболее общем, наиболее недифференцированном смысле — не разрушила оболочку, ввергнув их в такие тяжкие обстоятельства, с которыми они совершенно не могли справиться и которые угрожали разрушить целую жизнь, прожитую здраво и правильно.

Эти опасности теперь угрожали ему со всех сторон. Примерно прожитая жизнь привела его к безумию, от которого уже не оправиться. Его главным козырем была способность чувствовать это так, как есть, как отклонение, отступление от здравого смысла. Его самой слабой картой мог стать недостаток средств для борьбы с этим. Почему бы, в противном случае, он продумывал свои перемещения с учетом перемещений Софи Клэй и получал мазохистское удовольствие от своих рассчитанных отсутствий, от еще более рассчитанной предупредительности, от отвратительной маски неуместной бравады, за которой скрывалось грустное чувство предательства, низости, потери невинности? Его дни были теперь подчинены одной навязчивой идее — ибо он признавал, что это не более чем навязчивая идея. Если до того он шел более или менее достойным путем, то теперь он был смешон. Даже если в его жизни не было настоящей удовлетворенности, раньше недостаток явных побед не вызывал чувства обиды. Теперь же он чувствовал одно, и только одно: ему не хватает удовольствия. В самом узком смысле это отражалось на всем, что он делал, так что его ладонь непроизвольно тянулась схватить невидимую чужую ладонь, рука

огибала воображаемое плечо. Отсутствие взаимности даже не очень его беспокоило. Важнее был инстинкт, который управлял его ладонью, его рукой, как будто даже теперь, на этой последней стадии, он мог освободить желания, которые должны были иссякнуть вместе с его юностью, его красотой, даже здоровьем. Такие симптомы, такие тщетные жесты были, несомненно, свидетельством того, сколь жестокую шутку сыграла с ним его нежитая жизнь.

Вернувшись на Чилтерн-стрит, он включил свет, увидел, что в зданиях напротив тоже зажглись огни, приготовил поесть, вполуха прослушал новости, понял, что никакая книга, никакое зрелище не могут перешибить его настроя, который по ходу дня достиг своей критической массы. В восемь он набрал номер телефона.

— Софи? — сказал он. — Тут вам посылка. Вы сами зайдете или мне вам занести?

— Вы не могли бы занести? Я только что из душа.

Она больше не произносила его имени. Это ранило его чуть ли не больше всего остального, усугубляя впечатление, что он всего лишь ее доверенный слуга. Он взял посылку и осторожно, бочком, стал спускаться по лестнице. Дверь в

ее квартиру была открыта, звуки радио, запахи кофе и всякой косметики для ванны доносились до маленькой площадки, где он неловко остановился, пытаясь удержать тяжелый сверток на одном колене.

— Софи? — позвал он. — Я оставлю посылку у двери.

Его внезапно замутило от всего этого. Она появилась из ванной в белом махровом халате с широкими рукавами. Волосы у нее были влажные, лицо непривычно оживлено после горячего душа. Она казалась такой, какой он никогда не видел ее прежде: голой. Его взгляд проникал сквозь обширные складки халата к тому, что должно было быть под ним.

— Извините, что я не вовремя, — сказал он с дрожащей ноткой фальши в голосе.

— Можно было и завтра, — сказала она. — Но все равно, спасибо.

Она стала вытирать волосы полотенцем, которое держала в руках. Рукав ее халата приоткрыл запястье, которое показалось ему необыкновенно прекрасным. Без мысли, без воли его рука обхватила его, а потом скользнула к мягкому изгибу ее локтя, где и остановилась. Софи уставилась на него без улыбки; устыдившись, он убрал

руку и приготовился как-то пошутить, чтобы скрыть свое замешательство, но не смог ничего придумать.

— Такая мягкая кожа, — пробормотал он, еще больше ухудшая свое положение.

Лицо ее было каменным.

— Я видела, что вы на меня смотрите, — сказала она. — Я видела вас в окне. Будьте осторожнее. Я могу и сказать кому следует, знаете.

Теперь уже ничего не могло быть хуже. Он сам не знал, как добрался до своей квартиры. Его сердце не помещалось в груди, толкалось в горле. Он сидел неподвижно и ждал, когда оно уляжется, но мечтал об аннигиляции. Видимо, некоторое время он так просидел, не имея сил пошевелиться. Он не видел, как можно оправиться от такого оскорбления. В конце часа, как это воспринималось бы в его размеренном существовании, в дверь позвонили.

— Ключи Софи, если не возражаете, — сказал Джейми.

Герц безмолвно отдал их. После этого, словно вспомнив, что надо это сделать, он лег спать.

Он заболел и был почти рад этому. Он не считал это физическим недугом, хотя налицо были физические признаки, связанные с инфекцией.

Он поставил себе диагноз «психический шок», сам, без врача. Желание перешло определенный порог, и это привело к кризису. Так он это понимал. В минуты ясности мышления он думал над тем, что его любовное поведение было сформировано прошлым: оно не имело права на жизнь в настоящем. Импровизировать любовь было столь же абсурдно, как импровизировать обучение. Он совершил существенную ошибку, которая могла вызвать лишь презрение. Но гнев? Но холодное отвращение, которое до сих пор еще заставляло его вздрагивать? В то же время он сам в ответ испытал гнев. Зрелая женщина, какой он считал Софи, знала бы, что делать с нежелательным ухаживанием. Она обязана была иметь в арсенале такое знание. Зрелая женщина просто улыбнулась бы и отстранилась и вела бы себя дальше так, словно ничего не произошло, и, уж конечно, не стала бы угрожать. А ведь именно это она сделала, так обоснованно упомянув, что «скажет». Он видел, как его вызывает на суд некий моральный трибунал, состоящий, тут даже нет сомнений, из потенциальных владельцев, к которым он тщетно обращается с просьбой продлить арендный договор. Это казалось ему весьма вероятным. Он не сомневался, что она

имела деловые отношения с такими людьми, когда приобретала эту квартиру; насколько он знал, они (все еще туманное «они») были в наилучших отношениях. В таком контексте ее слово неизбежно перевесило бы его собственное. Ни один мужчина не может защититься от обвинения в сексуальном домогательстве. И этот его жест, его жалкий жест, будет усилен, достигнет значительного веса при пересказе, и в лучшем случае его сочтут нежелательным. Его безупречное досье не будет иметь никакого значения, его деятельность будет сброшена со счетов как ничего не стоящая. Он действительно полагал, что она ничего не стоит. Если бы он вел более предосудительную жизнь, он бы знал, как обороняться от такого контрпреследования, ибо что же еще это было? Она имела право презирать его, как бы грубо это у нее ни получалось, но не отнимать у него его собственность. Она должна знать, как знал это он, что ничего такого больше не повторится. Он никогда не захочет сталкиваться с нею в будущем и снова будет рассчитывать свои уходы и приходы с оглядкой на нее, но теперь уже для того, чтобы с нею разминуться. Если же ему настолько не повезет, что он встретит ее на лестнице, он просто кивнет и улыбнется. Не было никакой необходи-

мости что-то говорить. Он останется учтивым, до ужаса учтивым, как будто осуждая ее молодость с высоты своего опыта. Вот что он собирался делать впредь. В этой части он не видел никаких осложнений. Тут он был бы самим собой.

Но надо учесть, что с ним произошло еще одно серьезное изменение: его желание ушло, оставив лишь вкус горькой усталости. Он больше не посмотрит на женщину оценивающе или одобрительно. Он не чувствовал своей вины в этом, просто понимал, что постоянно, и так ошибочно, рушил свое настоящее (а на самом деле будущее) в тисках прошлого, когда он был молод и жизнеспособен. Теперь он расплачивался за это тем, что стал аномалией, влюбленным стариком. Ибо это была своего рода любовь, хоть и самовозгоревшаяся и ничем не вознагражденная. Возможно, это была любовь в чистом виде. Она не предусматривала никакого ответного чувства: это, думал Герц, должно до некоторой степени его реабилитировать. Он был не прав в том, что ожидал в ответ любезности, которую всегда проявлял сам в таких ситуациях, но очевидно, он ожидал слишком много. Ни разу прежде не сталкиваясь с враждебностью в своих отношениях с женщинами, он вынужден был теперь принять тот факт,

что ситуация изменилась, и изменилась даже историческая ситуация. Хотя его все еще жег стыд, то был стыд за свое невежество, а не за несостоятельность. Он не понимал, насколько виновен он был бы в глазах того трибунала, который, как он знал, будет состоять из женщин. Он воображал себе зал суда: ряды женщин с портфелями, и на галерке одинокий мужчина демонстративно разрывает свой арендный договор.

В среду Тед Бишоп, как всегда заботливый, когда сталкивался с чьей-то ветхостью, принес ему кружку чая. На блюдечке лежало печенье. Этот маленький знак внимания вызвал у Герца слезы, которые он сумел скрыть, пока не остался один. В четверг он встал, хоть и пошатываясь, помылся и оделся. Он понял по одежде, что похудел. Он плохо себя чувствовал. Он предполагал, что и выглядит неважно, но это было трудно оценить, поскольку, поглядевшись в зеркало, он увидел лишь презрение своей матери и жесткий рот отца.

12

Относительное затишье, последовавшее за этим эпизодом, было Герцу весьма по душе, хотя он знал, что продлится оно недолго. Никто его не притеснял. Когда он случайно столкнулся с Софи Клэй на лестнице, он сделал жест, как будто прикасается к несуществующей шляпе, и прошел мимо. Она сделала вид, что его не заметила, и Герца это вполне устроило, хотя ему показалось, что в ее невыразительных глазах был какой-то ответный проблеск. Он питал к ней теперь неприязнь, недоверие, хотя фактически она оказала ему услугу: избавила его от всяких теплых чувств и снова сделала тем, чем ему полагалось быть: человеком, в котором умерли главные живительные импульсы. Так что теперь он был лишь призраком самого себя. Он сознательно, добросовестно играл свою роль улыбчивого, безопасного, законопослушного гражданина. Он больше не боялся разоблачений, ибо человек, которым он стал теперь, не имел никакого отношения к тому мужчине, которым он так недолго был.

Однако он понимал, что в нем произошли

коренные изменения. Он отстранился, ушел от своих прежних привязанностей. Он больше не искал общества, принимая свое одиночество как данность, от которой больше не пытался бежать. Но он знал, что это не тот застой, которому подвержены все старики. Это радикальнее, глубиннее. Это было состояние, которым правила ирония, насмешливая уступка, совершенно не связанная с реальностью желания. В то же время он сознавал, что должен культивировать это посмертное состояние, и в его границах ему может посчастливиться найти отстраненную презрительность, которая позволит ему смотреть на свое однообразное настоящее с этаким мрачным юмором. Вот, сказал он себе, к чему мы пришли: неуместный энтузиазм перебродил в безразличие; женщины оказались не теми; обязанности сами тебя находят; даже соглашательство твое никому не заметно, потому что твои титанические потуги соответствовать никому, кроме тебя самого, не интересны. Той аудитории, которой когда-то так не хватало Герцу, так и не было. Даже теперь у него мало знакомых, хотя это даже к лучшему. Знакомым достаточно простых жестов признания, так что его отношения с остальной частью мира подчинялись простому коду: улыб-

ка, поднятая рука, поклон — вот и все, что теперь от него требовалось.

Зима была мягкой, настолько мягкой, что люди покачивали головами, предрекая наводнения, холодную весну и лето даже еще более суровое, чем в прошлом году. Он мог проводить дни в городском саду, плотно завернувшись в пальто и обмотавшись шарфом, и неподвижно сидел на скамье с газетой, в которую не смотрел. Частенько он сиживал так один, если не считать детей, прибегавших в обеденное время, но он их старательно не замечал. Опасался, что они всколыхнут в нем чувства. Их появление служило для него сигналом отправиться в кафе на Паддингтон-стрит, где другие клиенты, знакомые и незнакомые, обменивались теми же самыми жестами признания. Даже это подобие общества было ему в тягость, и когда, по его расчетам, дети должны были вернуться в школу, он возвращался на свое место и снова сосредоточивал внимание на том, что видел перед собой: растоптанный листик, еле ползущий по дорожке, или, радующий как признак весны, вдавленный во влажную землю лепесток с одной из городских клумб, теперь почти опустевших. В привычно туманном молочном ноябре ему не казалось чудачеством

проводить таким образом время: кроме всего прочего, это был своего рода отпуск, вполне в духе тех отпусков, которые он устраивал себе в прошлом; отпуск, посвященный в основном пассивности, которой он теперь наслаждался, а если не наслаждался, то не сопротивлялся.

Он даже не сожалел о более широких горизонтах, хотя был бы рад увидеть что-то еще, кроме редкой растительности, которую ему приходилось разглядывать. В идеале это должна была быть широкая аллея, заполненная прогуливающимися парами, чья близость пробуждала бы в нем симпатию. Перед его внутренним взором вставал некий абстрактный сад, где ходят персонажи из прошлого, ни с одним из которых он не был знаком лично, но знал их по книгам. Вместо этого ноябрьского тумана ему представлялся мягкий, неюжный солнечный день, свет, смягчающий грани действительности, имевшей мало сходства с этим маленьким сквером с деревянными скамейками, мусорными урнами и тишиной, которую нарушали лишь дети да случайный молодой человек, что присел напротив, сделал несколько звонков по мобильному телефону и снова куда-то пошел, вероятно в офис. Герцу захотелось расспросить его, кем он работает,

но он понимал, что этот интерес тоже родом из его послушного прошлого. Теперь ответ достиг бы его только сквозь миазмы безразличия. Куда лучше снова обратить внимание на последний трепещущий листик, жалобно висящий на веретенообразном дереве, или на влажные следы, оставленные кем-то, кого здесь больше нет. Теперь он любил природу, а не искусство. Признаки жизни, явленные ему, впечатляли своей изолированностью, своей разрозненностью: листик не имел никакой связи со следами, и все же скромность того и другого крайне увлекали.

Сумерки наступили рано и своей благосклонностью искупили отсутствие солнца. Тогда он со скрипом поднялся, взял свою отсыревшую газету и, собравшись с духом, двинулся домой. В это время обычно моросил дождик, и Герц мог полюбоваться городом: тем, как блестит на мокром тротуаре или отражается в лужицах свет фонарей, как сияет вывеска универсама, где он обычно покупает продукты для своих нехитрых трапез, или отдаленным всплеском, когда чей-нибудь автомобиль въезжал колесом в сточную канаву. Его улица, все такая же пустая, поражала его своей абстрактной кирпичной странностью, отсутствием кривых линий, своей беспощадной

симметрией. Вставляя ключ в замок, он помахал молодым людям в магазине, Майку и Тони, один из которых поднял кружку, приглашая Герца присоединиться к их чаепитию: тот повторил его жест и с улыбкой отказался. Он любил этих молодых людей и поэтому не хотел смущать их своим обществом. Он оказывал им мелкие услуги, забирал для них молоко и держал у себя, пока они не придут открывать магазин, хранил комплект запасных ключей, как когда-то для Софи Клэй. Это было просто чудо — неожиданное при существующих обстоятельствах, — что магазин причинял ему так мало беспокойства. Телевизоры включались сразу же, как только приходили Майк и Тони, но звук долетал до него лишь отдаленным рокотом, вроде шума прибоя, и только когда покупатель просил проверить, раздавались короткие залпы. Он ценил молодых людей за то, что они трудяги и, можно сказать, его коллеги, если вспомнить будни в магазине, и ему известно было, как неприятно, когда клиент приходит перед перерывом на чаепитие, и как сладок звук запираемого замка… Вернувшись в квартиру, он из солидарности с ними выпивал чаю, часто стоя у окна, чтобы снять напряжение в спине после долгого сидения в сырости сада. Он стоял там,

пока Тони и Майк не уходили домой. Иногда один из них поднимал голову и махал ему. Но, едва заслышав знакомый стук каблучков, он отступал в сумрак гостиной. Он старался не подходить к окну, когда у него горит свет, задергивал шторы, чего никогда раньше не делал, завершая свою маскировку, сигналя о своей недосягаемости. Потом начинался вечер, длинная прелюдия к ночи, которая возвещала — или не возвещала — сон. Ночи редко приносили сновидения, вот что было особенно обидно. Он, когда-то видевший столь яркие сны, воспринял эту утрату как символ промелькнувшей жизни.

Был еще один ритуал, который надо было соблюсти, прежде чем считать день законченным. Надо было вновь достать арендный договор из второго ящика стола, где он лежал вместе с черновиком завещания, который Герц намеревался передать Бернарду Саймондсу, и снова перечитать на случай, если он все-таки пропустил слово «возобновляемый». Но этого слова там не было. Оба документа, арендный договор и завещание, были обманными, поскольку ему было некуда уезжать и нечего оставлять. Он бы завещал квартиру Джози, если бы был уверен, что останется ее хозяином, но он чувствовал,

что она от него ускользает, как будто его хватка физически ослабла. Ему не приходило никаких напоминаний, он не замечал никаких признаков деятельности, но от молодых людей из магазина он узнал, что здание перешло в другие руки и что эти люди теперь собирали силы для полномасштабного нападения. Это больше не пугало его, как раньше: квартира потеряла для него свою привлекательность, как только он понял, что для него все места впредь будут более или менее чуждыми. Однако доход его был ограничен; квартира оставалась его единственным активом. Только продав квартиру, он получил бы больший капитал. Он почти утвердился в решении, что мог бы платить арендную плату, а не выкупать квартиру, но совершенно не был уверен, что ему дадут право выбора. Только потеряв все сразу, он мог что-нибудь оставить Джози; только если бы он продал квартиру и вскоре умер, она могла унаследовать какие-то оставшиеся деньги. Такие мысли посещали его приблизительно в одно и то же время каждый вечер и даже спустя несколько часов продолжали вертеться в голове. Только в сырой тишине сада он чувствовал себя физически удаленным от них; облегчение было ограничено только временем, проведенным там,

и стремительно иссякало к тому моменту, когда он возвращался на Чилтерн-стрит. В квартире оно полностью исчезало.

Вечером того дня, который, он смутно помнил, был его днем рождения, Герц позвонил Бернарду Саймондсу и пригласил его на обед. Ему всегда было приятно, что такое приглашение от души принималось. Эта сердечность, эта доброта была, без сомнения, полупрофессиональным качеством, весьма ценимым клиентами Саймондса, хотя Герц подозревал, что тут больше личного, что Саймондс избрал Герца кем-то вроде пожилого друга, от которого можно услышать мудрый совет, но он тактично помалкивает. И к тому же деньги их текли из одного и того же источника, причем оба считали, что не имеют никакого права пользоваться этими благами, не вспоминая о дарителе. Об этом редко говорилось, но они вели себя так, словно получили общее наследство. За неимением чего-то более определенного, это связывало их той таинственной связью, которая скорее ощущается, а не признается в открытую. Мистический крестный отец, соединив их, выполнял функцию общего предка, без которого их отношения остались бы более формальными. Они договорились встретиться в городе, в ресто-

ране, куда Герц обычно приглашал Джози. Герц предупредил Саймондса, что ему нужна консультация, указав, что собирается ее оплатить. Сумма гонорара, как всегда непомерная, не будет упомянута в ходе обеда — маленькая любезность, которую Герц оценил. Счет придет ему на дом, обыкновенным образом, без комментария, и будет без комментария, безропотно оплачен.

— Вы хорошо выглядите, — сказал Герц, когда оба разворачивали салфетки.

— А вы — напротив, Юлиус. С вами все в порядке?

— В моем возрасте ни у кого не бывает все в порядке.

— О, извините.

— Ничего страшного. Я только недавно оправился от гриппа.

— Вы были у врача?

— Нет, конечно нет. Все равно я врачам не доверяю. Но я хотел поговорить с вами о Джози. Я уже писал вам, что хочу назначить ей небольшое пособие.

— Об этом уже позаботились. Но вы уверены? Вы же знаете, у вас нет никаких обязательств.

— Совершенно уверен. Но это еще не все. Я хочу оставить ей немного денег. Это все указано

в завещании, которое я набросал. — Он передал оба своих документа. — Как видите, денег может и не остаться. Мой арендный договор невозобновляемый. Деньги Джози зависят от того, есть ли они у меня. А мои деньги зависят от того, буду ли я жить в этой квартире. Если мне придется покупать что-то другое — по явно разорительной цене, — то не останется ничего.

— Вы всегда сможете снимать квартиру, когда арендный договор истечет.

— Полагаю, это проблематично?

— Ничуть. Или вы могли бы продать квартиру сейчас.

— Кто же купит арендный договор на три года? Таких дураков не найдешь.

— Вы себе не представляете! Фирмы всегда ищут места для своих руководителей. А теперь это сплошь краткосрочные контракты — год, два года. С этим вообще не будет проблем.

— Но куда же я денусь?

— Моя клиентка — я не должен вам этого рассказывать — столкнулась с той же самой проблемой, когда умер ее муж. Она переехала в гостиницу на юге Франции, договорилась с администрацией, платила им установленную сумму каждый месяц и жила более или менее независимо. Они — она и

менеджер — были в прекрасных отношениях: он оценил преимущества клиента, который занимает номер и в сезон, и в несезон. Когда она умерла, он даже устроил похороны.

— Понимаю. — Пауза. — Мне никогда особенно не нравились гостиницы. Я всегда чувствовал себя там как беглец.

— Или есть жилые дома.

— Вы имеете в виду что-то типа частного дома? Еще чудеснее.

— Вы всегда можете купить другой арендный договор на вашу нынешнюю квартиру. Хотите, я наведу справки? Я полагаю, у вашего здания недавно сменился владелец. Как я понимаю, его будут как-то перестраивать.

— Вы правда можете это сделать? Мне совсем не хочется переезжать. Единственное, чего мне хочется, это оставить что-то Джози.

— Боюсь, это невозможно.

— Да, я понимаю. — Он подумал о своей бедной девочке, оказавшейся, как и он, на мели, зависящей в будущем исключительно от его средств. Потом он нехотя оставил эти мысли. В конце концов, ее положение было не более рискованным, чем его собственное. — Просто мне хотелось бы улучшить ее жизнь, прежде чем я

умру. Я все время только тем и занимался, что пытался облегчить кому-то жизнь. Только у меня это выходило плохо.

— Ну, ну, Юлиус.

— Если бы мы остались в Германии, я пошел бы учиться, приобрел профессию, стал джентльменом, как мой отец когда-то. Я своих квартировладельцев воспринимаю как гонителей и обездоливателей: тень прошлого, надо думать. И все же эта страна была ко мне добра. Единственное, что я все равно не чувствую себя здесь как дома. Именно поэтому я сейчас так переживаю: маленькая проблема постоянного адреса кажется непомерно сложной. В моем возрасте вообще не может быть ничего постоянного. И конечно, я буду очень вам признателен, если вы для меня все это сделаете. Я буду счастлив оставить все в ваших руках. Если, конечно, вы не слишком заняты.

— Я выясню, что тут можно сделать. Не удивляйтесь, если не получите от меня скорых известий. У меня сейчас свои заботы появились. — Лицо его приняло выражение полуиспуганное, полуудовлетворенное. — На самом деле у меня две проблемы. Первая — Элен хочет, чтобы мы поженились. Вторая — я встречаюсь с другой.

— О господи. — Его восклицание прозвучало так прочувствованно, что пришлось добавить: — А разве нельзя остаться с обеими?

— Увы, нет. Обе очень хорошо подкованы по части обязательств, как они это называют.

— Звучит слишком уж по-адвокатски.

— А я хочу немного свободы. — Саймондса прорвало. — Я думал, что мы с Элен понимаем друг друга…

— Вы уверены, что хотите свободы? Свобода — палка о двух концах. Без обязательств человек часто делает меньше, а не больше.

— У меня есть обязательства, — возразил Саймондс. — Я профессионал в своем деле.

— Я бы на вашем месте женился. Когда есть к кому возвращаться по вечерам, это важно.

— Как раз о моих вечерах неплохо позаботились. Думаю, это я могу сказать, не опасаясь впасть в противоречие.

Герца встревожил боевой тон этой последней реплики.

— Вы влюблены, разумеется. Любовь и свобода несовместимы, хотя кажется, что свобода маячит за каждым новым всплеском чувства. Это иллюзия, Бернард, — я имею в виду свободу. Нет такой вещи. Теоретически я свободен. И однако, если я

изменю имя, перееду в другую страну — а я могу сделать то и другое, — я не стану от этого свободным, хоть сколько-нибудь свободнее, чем теперь. Вы, с другой стороны, свободны жениться, как и всегда были. Вот только выбор у человека есть не всегда. А свобода, в конце концов, заключается в наличии выбора. Я вижу, вас расстраивает ваша влюбленность, но ведь так всегда бывает. Иногда эмоции, которые приходят с новым человеком, так оживляют. И так запутывают. Собственные привязанности постепенно выходят на первый план. Ваша новая подруга действительно вас любит?

— Я думаю, да.

— А по-моему, больше ценится преданность. Она намного важнее верности. В смысле, супружеской верности. Наверное, вы должны быть преданы Элен?

— Она мне не облегчает положения.

— А почему она должна? Женщины обычно больше стремятся к постоянству, чем мужчины. Об этом написаны тома книг; в Америке на этом вырастили целую промышленность. Я подобрал на днях чью-то газету и прочел там статью на эту тему. С продолжением. — (На самом деле он просто-таки проглотил эту статью, пока не было

никого, кто бы его увидел, и почти уже решил купить следующий номер, но появление в саду детей привело его в чувство.) — Видимо, будет самая настоящая несовместимость. Еще кофе? — Он задумался, как бы так потактичнее вернуться к обсуждению своих собственных дел. Он понимал, что его слова обидели Саймондса. — Нет, нет, позвольте мне. Я настаиваю, — сказал он, когда принесли счет.

Саймондс посидел, нахохлившись, потом встряхнулся.

— Я с вами свяжусь, — пообещал он. — Просто потерпите немного. Мой вам совет, возьмите отпуск. — Это ему говорили все. — Или покажитесь врачу. Приведите себя в боевую форму. Вы знаете, вы очень исхудали.

— Это все грипп. Я совершенно в порядке, правда. — Но он знал, что это не так. Он часто начинал задыхаться в эти дни, поэтому и проводил время в таких спокойных занятиях. В пустом саду, одетом туманом, никто не мог увидеть, что он кладет руку на сердце, слушая, как учащенно и иногда неровно оно бьется. Он это приписывал своему недавнему волнению, которое приняло облик физического недомогания, словно для того, чтобы и дальше его терзать. Даже сейчас он торопился

домой, на случай, если его возрастающая тревога станет проявляться во внешних признаках. Он спокойно заплатил по счету, добавил, как обычно, крупные чаевые, и теперь надеялся побыстрее найти такси.

— Как вы сейчас поедете? — вежливо спросил он.

— На метро. О, между прочим, тут вам пришло письмо. Очевидно, кто-то думает, что вы так и живете на Хиллтоп-роуд. Я должен был вам его переслать. Вы правы, я пренебрегаю своими обязанностями.

У него был такой удрученный вид, что Герцу захотелось его обнять. Вместо этого он похлопал его по руке и сказал:

— Я вам страшно благодарен, Бернард. Как всегда. Давайте снова встретимся в ближайшее время.

Он, не разглядывая, положил письмо в карман. Облегчение от того, что можно вернуться домой, было настолько велико, что он забыл о нем, пока легкий шелест, когда он снимал пальто, не напомнил ему выложить письмо на стол. После этого на первый план вышло более важное дело: лечь в постель. Письмо подождет. Ничего срочного в нем быть не может. Едва ли письмо, посланное

на Хиллтоп-роуд, имеет отношение к его настоящему шаткому положению. Не в первый раз он пожалел об этой, почти фамильной, квартире, столь отличавшейся от убогого жилища, которое было у них затем и последним олицетворением которого была квартирка на Чилтерн-стрит.

Шум дождя пробудил его от краткого, но глубокого сна. Он посмотрел на часы: два тридцать. По опыту он знал, что его ночь на этом закончена, и в тот момент решил снова пойти к тому же бесчувственному доктору и попросить его выписать снотворное. Эти темные часы слишком способствовали неприятным размышлениям. Ему на удивление не хотелось спать, и вообще было не по себе. Это ощущение неловкости было результатом разговора с Бернардом Саймондсом и, главным образом, его собственной ролью в этой беседе. Тон его был и легкомысленным, и назидательным — верная примета невнимательного слушателя. Но он не был невнимателен: он был осторожен, отказываясь участвовать в обсуждении чужих любовных дел или просто чьих-либо. Эти вопросы больше не для него, и все же он распознал горячечное состояние собеседника, тот жар, которым пахнуло, когда тот развернул свои мандаты: не одна женщина, а целых две!

Саймондс почувствовал, что Герц, даже сквозь усталость и брезгливость, молча его поздравил. И это придало его ханжескому морализаторству двусмысленность. Если бы он был способен пробиться через сдержанность, которая обычно была ключевой нотой этих встреч, он убедил бы Саймондса повиноваться инстинктам, оставить в прошлом хорошее поведение и диктовать свою волю сразу обеим — и долговременной подруге, и новой возлюбленной. Тогда ему, возможно, удалось бы достичь той идеальной свободы, которую так старались очернить умные рассуждения самого же Герца.

Собственные представления Герца о свободе, основанной на самых высоких предписаниях, недавно подорвала та краткая вспышка. Он нашел те же симптомы у Саймондса, но считал, что нельзя давать власть тому, что так нетерпеливо ожидало его сочувствия. От него требовалось сочувствие. Он должен был выслушать это признание с вежливым уважением; вместо этого он предпочел скрыться под маской непоследовательного старика, цинизм которого соперничает с никчемностью. Само выражение его лица, наверное, говорило о нежелании никого выслушивать, хотя он знал, что был таким

же серьезно-внимательным, как всегда, и только чуть менее хладнокровным, чем ему бы хотелось. Главной его реакцией было нетерпение, нетерпение, которое теперь окутывало темную комнату, настенные часы и все прочие атрибуты столь продуманной среды его обитания, которая теперь оказалась под угрозой. Он хотел бы написать Саймондсу записку, извиниться за то, что был так поглощен своими заботами, но знал, что этого не сделает, ведь это еще больше усугубило бы его провинность. Он также хотел бы в этой самой несостоявшейся записке напомнить Саймондсу, что вопрос его арендного договора должен стоять выше любых эмоциональных катаклизмов, но знал, что и этого он тоже не будет делать. Он будет молча ждать, как развернутся события, поскольку именно этого от него ожидают. Он снова пригласит Саймондса пообедать вместе уже в начале нового года, и тогда-то уж будет следить за собой, не позволяя себе опрометчивых заявлений, и даст Саймондсу полное право потворствовать своей собственной опрометчивости. И этого от него также ожидают.

Шел дождь, когда на следующий день он отправился в приемную врача на Пэддингтон-стрит, как раз неподалеку от городского сада, который,

скорее всего, будет открыт в это темное утро и те, без сомнения, темные утра, которые придут следом. Рождество отметит самую нижнюю точку года, после начнется очень медленный подъем к свету. Он немного помечтал о бегстве: вновь его мысленному взору предстал тот абстрактный сад с медленно прохаживающимися парами, но он знал, что это лишь плод его фантазии. Еще перед ним мелькнуло краткое, ни с чем не связанное воспоминание о хрустальном блюде, на котором его мать когда-то подавала субботний шоколадный торт. Эти проблески памяти, всегда спонтанные, приводили его в восторг и отвлекали от обычных монотонных раздумий. Они являлись днем, при ярком свете, а не ночью, когда его бессонница мистическим образом передавалась рациональным мыслям. Из этого он сделал вывод, что ночные часы для чего-то нужны, и решил воздержаться от визита к доктору: снотворное может и подождать. В любом случае, ночи приносили меньше хлопот, чем дни, которые могли быть испорчены плохой погодой. Он вернулся той же дорогой, теша себя воспоминанием о том стеклянном блюде и о тех далеких субботах и воскресеньях в Берлине, когда в дом приходили друзья. Он теперь понял, что привя-

занность матери к Бижу Франк была попыткой восстановить эту традицию, от которой ничего не осталось. Дома он постановил себе провести день в четырех стенах, что раньше всегда вызывало в нем тревогу. На столе он увидел письмо, которое Саймондс отдал ему накануне, но вместо письма снова взял в руки томик Манна и благодарно погрузился в такой памятный, такой до мелочей знакомый пейзаж, в буржуазное прошлое.

13

Письмо с неправильно наклеенными марками шло до Хиллтоп-роуд долго, а до Чилтерн-стрит и того дольше. Прежде чем устроиться в кресле, чтобы его прочитать, Герц поглядел на подпись: Фанни Шнайдер (Бауэр). Этого он так или иначе ожидал от благовоспитанного почерка на многочисленных листах тонкой бумаги. Это был почерк той, что предъявляла крупный счет миру, не слишком заботясь о том, что этот мир требует взамен. Занятно, что, перестав ждать этого письма, которое спасло бы его от многих горестей и разочарований, Герц остался бесстрастным, когда его прочел. Подобно всем запоздавшим посланиям, оно не попало в цель, утратило свое назначение. Он несколько секунд держал в руках тонкие страницы, спрашивая себя, почему они оставили его настолько безразличным. Содержание не имело большого значения. Реальность существования Фанни Бауэр была размыта годами отсутствия, розности. Он до сих пор мог вызвать в себе то ощущение розности, которое, должно быть, оставалось невостребованным

с момента их последней встречи. Это было его неудавшееся, оставившее после себя чувство стыда и смятения, предложение руки и сердца в несуразно пышной обстановке «Бо Риваж». Даже после того, как отказала ему, Фанни взяла сумочку и напомнила матери, что пора переодеваться к обеду. Ее мать, в которой он с трудом мог узнать свою энергичную тетушку Анну, молча последовала за нею, удостоив Герца лишь взглядом, где было одобрение, признание его поклонения, но в то же время этот взгляд говорил ему, что в этом поклонении больше нет нужды, что сам он больше не рьяный мальчик, что он перерос рьяность, не снискав попутно мирского успеха. Возможно, та рьяность проявилась в его сватовстве, которое совершенно не вязалось с этим отелем, этой комнатой с высоким потолком, в которой он внезапно почувствовал себя в одиночестве.

А возможно, розность длилась еще дольше, начиная с детской вечеринки по случаю дня рождения, когда он раболепно глядел на свою кузину, восхищаясь ее надменностью, ее непостоянством, желая, чтобы все это было только для него. Со временем он разглядел наигранность в ее поведении, но не ставил ей это в вину. Просто она была лучше готова к жизни в этом мире, чем

он. Он видел, что она будет капризной, скучающей, что она нарочно не станет скрывать скуку, для того чтобы другие старались ее развлечь, и станет терзать их в ответ, чтобы искреннее признание в любви или преданности стало чем-то аномальным, как будто произнесенным на незнакомом языке. Он понимал даже тогда, во время того детского праздника, что она жестока, а он обречен на верность. Как пренебрежительно она обошлась с ним, когда он не понял игры, которую она затеяла! Игра состояла из признаний, дерзостей и фантов, одна из тех оскорбительных игр, в которые нужно играть с максимальной изобретательностью, чтобы не потерять лицо. Он позорно провалился и, по мнению всех, был так нелеп, что Фанни прогнала его и посадила в угол, где он сидел с озадаченной улыбкой, пока игра продолжалась без него.

То ощущение отверженности осталось с ним и сообщалось каждому его последующему действию. Сквозь годы он до сих пор помнил с печальной отчетливостью свои страдания, в которых тогда еще не смог распознать взрослого чувства, пришедшего им на смену. И в Нионе он счел свою отставку неизбежной и желал только, чтобы она дала ему больше времени рассмот-

реть ее, понять, какие изменения произошли в ее внешности, поговорить о жизни каждого из них, а если возможно, то и о чувствах. Этого ему не позволили: годы вызвали слишком много изменений, чтобы все их можно было описать, даже если бы на это нашлось время, о чем он тщетно мечтал. Вместо этого тетя пригласила его с ними пообедать. Узнав, что он уезжает на следующее утро, Фанни улыбнулась, но разговор свела к самым банальным фразам, и обращалась в основном к матери.

Он украдкой разглядывал приятно округлившуюся фигуру своей визави, решил, что она по-прежнему красива, хотя теперь она была бледнее, чем в девичестве: глаза остались такими же блестящими, как он их помнил, волосы такими же темными. Только руки ее стали пухлыми руками женщины, которая не делала никакой работы и проводила дни в праздности. Ему совсем нетрудно было усвоить, что она вдова, поскольку у нее был взгляд неразбуженного человека, которого больше не беспокоят чувства. Он даже задумался, любила ли она своего мужа, Клода Меллерио, или ее брак был с ее стороны лишь деловым соглашением, спланированным ее матерью. Натолкнувшись на ее странное хладнокровие,

он понял, что по своей физической природе она пассивна и может доставить удовольствие в силу той же пассивности, но не принимает ничего взамен. Он видел, что при отсутствии атрибутов живой сексуальности она тем не менее остается интригующей. В самом ее самообладании был вызов. Он сомневался, удалось ли или удастся ли в будущем хоть одному мужчине лишить ее этого качества.

На следующее утро, шагая по берегу озера, он подумал, что вот основное различие между ними: его усердие наталкивалось на ее безразличное спокойствие, — и он видел, что это направлено не на одного его, а на мужчин вообще. Он видел, что она никогда не поймет тоску мужчины или даже его физические импульсы, что ей всегда будет лучше в женском обществе, и в первую очередь в обществе своей матери. Превращение взбалмошной девочки в эту степенную и безмятежную женщину в целом было закономерно: она никогда не понимала, что другие могут руководствоваться чувствами, принимала собственные капризы за чувства, так и не выбравшись из кокона своего девичества, и осталась чудовищно незнакома, с взрослыми эмоциями. Ей было легко только с теми, кто удовлетворял ее целям. Эти цели

нуждались в соответствующих условиях, что, без сомнения, и побудило ее выйти замуж. Практические соображения обеих женщин преобладали над всякими другими: Меллерио обещал легкую жизнь и уважал их близость. Однако, судя по выражениям их лиц, вдовство устраивало еще больше и саму Фанни, и ее мать. Их принадлежность этому отелю, который казался их естественной средой, фактически выражала истинное положение вещей: здесь им самое место. Вдовство было для Фанни тем же, чем для министра благородная отставка. Какое впечатление он произвел на них тогда, с пылью Эджвер-роуд на башмаках? Как он мог вообразить, что такое тонкое создание согласится покинуть эту пышную обстановку? Его собственное смирение, его осознание непомерности того, о чем он просит, в некоторой степени подготовило его к отказу, но тем не менее он был обескуражен небрежностью, с которой она отклонила его предложение. Она сохранила свою надменность; ее гладкие губы скрывали язвительный язык. Таким образом, с помощью, с одной стороны, отрешенности, а с другой — способности себя защитить, она отваживала всяких искателей более глубоких чувств, даже когда более глубокие чувства были

подходящими. Она могла вывести мужчину из себя, но могла и сбить с толку. Чего же она хочет, мог бы спросить ее мужчина. Просто, чтобы меня оставили в покое, был бы ответ, если бы она потрудилась его дать.

Таким образом, частично реабилитированный, Герц смотрел, как над озером встает солнце, и всячески казнил себя за глупость, потом вернулся в отель забрать свои вещи, а уж потом взял такси до вокзала. Его чувство беспомощности усиливалось тем фактом, что ему не дали заплатить за обед. Герц всегда сам оплачивал счет, так он привык, но они отклонили все его попытки, словно он по-прежнему был бедным родственником, как они всегда его воспринимали. Хотя в Берлине он им точно не был, после переезда в Лондон он и впрямь им стал; он обеспечивал свою семью, за вычетом Фредди, а потом и Джози, но сам этот факт был не в его пользу: ему приходилось зарабатывать на жизнь, а Фанни и ее мать жили в комфорте, благодаря завещанию Меллерио, и им никогда не приходилось работать или мыслить категориями работающего человека. Фанни настолько великолепно освоила профиль хорошо сохранившейся женщины, что это могло добавить ей привлекательности в глазах мужчины.

Он приобрел бы подлинное произведение искусства, хотя и стереотипное. Возможно, подлинные произведения и есть стереотип, стереотип, а не архетип, вроде того, каким себя считал романтичный Герц. Он жаждал объять эту явную инакость Фанни, а она, подняв бровь, вновь вынесла свой приговор его ожиданиям. Мирный Нион, с его неторопливо прогуливающимися жителями, послужил подходящим, словно данным в насмешку, фоном его поражению. То, что было несовместимо во времена детского праздника, осталось не менее несовместимым в этих новых изменившихся обстоятельствах. И все же чувство утраты так до конца и не прошло.

В противоположность унизительным для него обстоятельствам, Нион был с ним мягок, предупредителен, небо нашло компромисс между серым и голубым, старики, что играли в шахматы в кафе у вокзала, были серьезны, как сенаторы. Он мог понять, чем это место так привлекательно для Фанни и ее матери: это была обитель, в которой исчезали все мирские заботы. Повседневные занятия убаюкивали и утешали их. Даже он не устоял перед обаянием тихого ритма этого городка, вальяжности самих улиц, неторопливых шагов немногочисленных прохожих в эти ран-

ние часы, каменных дверных проемов, ведущих в темноту, алых гераней в ящиках за окнами, предусмотрительно огражденных железной решеткой… Лондон, в который он возвращался, был, напротив, загрубевшим от работы, резких усилий заработать деньги, от отсутствия как раз тех самых черточек, которые придавали Ниону мягкий и даже зыбкий облик. Он представил себе, каким спокойным образом жизни наслаждается Фанни и ее мать: как они, не торопясь, наряжаются и прихорашиваются, готовясь провести день в ленивом безделье, самая смелая экскурсия для них — это поход в местную кондитерскую за кофе и тортом. Обе располнели, что было неизбежно в этой умиротворяющей атмосфере. Полнота заставляла обеих казаться чувственными, однако их разговоры, судя по тому, что он слышал, касались исключительно практических сторон жизни: резкое напоминание официанту, что их обычной бутылки вина на столе нет, сопоставление цен у разных парикмахеров… К нему тоже изредка обращались, за что он был благодарен, понимая, каким неуклюжим выглядит в этой гостиной, сквозь большие зеркальные окна которой ему видна была набережная, а за ней неподвижные воды озера, простирающиеся до

размытой линии горизонта. Дамы кушали изящно, но с аппетитом. Он подумал о своей матери, о ее отважных претензиях, об отце, через силу возвращающемуся в сознание после дневного сна, о своем брате, неудачнике, посчитавшим неудачливость необходимым элементом своего «я». Наконец, он подумал о себе и обо всех своих неуместных потугах, о своем недолгом браке и о накопившейся за время его собственной вине. Ему захотелось плюнуть на свой удел и просто выйти из отеля в незнакомый пейзаж, неведомое будущее. В этом столь недосягаемом будущем у него не было бы спутников. Даже в бреду он не мог себе представить, что Фанни держится за его руку. Фанни была замужем за своей матерью, которая выступала в роли ее агента, ее менеджера. Если бы Фанни снова выходила замуж, то новому жениху пришлось бы выплатить ее матери проценты со сделки. В этой эволюционной борьбе он мог выступать только в роли арбитра.

Он нехотя разгладил страницы письма — таким четким было воспоминание о той меньше чем сорокавосьмичасовой отлучке с работы.

«Мой дорогой Юлиус, — прочел он. — Вы, несомненно, удивитесь, получив от меня письмо сквозь такое расстояние и время. Я нашла ваш

адрес на конверте письма вашей матери к моей; оно было заложено между 123 и 124 страницами „Будденброков“, которых мать читала перед тем, как умерла. С того ужасного дня я не могла читать эту книгу, но недавно взяла ее в руки, когда попросила Дорис, мою горничную, вытереть пыль на полках. Оттуда выпало письмо, и для меня было большой радостью узнать, как с вами связаться, поскольку сейчас мне нужна дружеская поддержка, а я помню, как искренне вы когда-то приходили в наш дом в Далеме много-много лет назад. Раз я говорю, что нуждаюсь в поддержке, вы понимаете, что жизнь меня не очень-то балует. Я потеряла двух мужей, но признаюсь, что самой большой для меня потерей была смерть матери, которая до последнего жила с нами. Мы с ней никогда не разлучались, и я страшно тоскую. Как только она умерла, все пошло не так. Я уверена, что, если бы она еще была жива, она бы подсказала мне, что делать. Мы с вами теперь единственные, кто остался из нашей семьи: я говорю это, хотя не знаю, найдет ли вас мое письмо и живы ли вы еще. Мы уже очень старые, а с людьми нашего возраста может случиться только одна вещь. Особенно тяжко, что мне приходится подвергаться дополнительным

напастям в этот период моей жизни, и я пишу, чтобы спросить у вас совета.

Позвольте мне объяснить. Я познакомилась со своим вторым мужем, Алоисом, в Нионе, где он был в отпуске. Они с моей матерью побеседовали, и выяснялось, что он из Бонна, и у него там маленькая типография. Мы пообедали все втроем, и я сочла его приятным. Мать думала, что это хорошая партия, поскольку у него было свое дело, и очень скоро мы поженились. Должна сказать, что он был от меня без ума, а я, как я уже говорила, считала его приятным. Сначала все шло хорошо: у нас был красивый дом в Поппельсдорфе, пригороде Бонна, а сестра Алоиса, Марго, была очень приветлива и внимательна. Там было очень мило, и обо всем заботилась прислуга, так что после жизни в отеле приспособиться было совсем нетрудно. К сожалению, Алоис был слабого здоровья; он страдал астмой и жаловался на разные другие недомогания, и хотя я пыталась его ободрить и как-то поддержать, он оставался полуинвалидом. Марго была частой гостьей у нас в доме, даже слишком частой, как мне порой казалось, и мы не всегда ладили. Я думаю, что она ко мне ревновала; она была вдова, не особенно привлекательная, и питала к брату очень соб-

ственнические чувства. Потом здоровье Алоиса ухудшилось, а вследствие этого и дела пошли неважно. Короче говоря, нам пришлось продать дом и вложить вырученные средства в его компанию. Хуже того, нам пришлось переехать в квартиру в Бонне, которая для меня была невыносимой. Случилось неизбежное, хотя, возможно, в других руках это бы не было неизбежным: Алоис обанкротился. К счастью, он перевел то, что оставалось от его активов, на меня, но, так или иначе, удар его фактически убил. Он еще продержался в течение года, но все больше падал духом и скоропостижно умер, не от своих обычных болезней, а от сердечного приступа.

Моя золовка винит в этом меня, хотя я заботилась о нем, как могла. Мать боялась, что я подорву собственное здоровье, и убеждала меня думать о себе. Но вообще это было невозможно, потому что меня сильно тревожила она сама. Я не буду останавливаться на этой теме: слишком болезненная. Она умерла от рака желудка, и с тех пор я действительно одинока.

Но худшее было еще впереди. Дочь Марго, Сабина, вбила в голову своей матери, что как прямая родня она имеет больше прав на деньги Алоиса, чем я. Она намного резче своей матери, и заявила,

что я не имею никакого права наследовать то, что осталось от бизнеса, что все это должно вернуться в семью; короче, она обратилась в суд, чтобы у меня все отняли. Она даже утверждала, что я не должна находиться в этой квартире, хотя мой адвокат говорит, что тут у нее слабые позиции. Так что я живу одна, под постоянной угрозой со стороны этой неприятной женщины (которая никогда мне не нравилась). Марго, конечно, приняла сторону дочери, и мы теперь редко разговариваем. К счастью, Клод, мой первый муж, оставил мне небольшое наследство, которое я держу в банке в Лозанне, но оно невелико, и его едва хватает на содержание этой квартиры. А жить в Бонне, с тех пор как здесь расположились всякие правительственные учреждения, стало дорого. Мне говорят, что я могу получить хорошую цену за квартиру, но куда же я тогда пойду?

Я в своей жизни всегда полагалась на мужчин и на мать, разумеется, так что надеюсь, что вы сможете посоветовать мне, что делать. Мне плохо в Бонне, хоть это и приятный город, и мысли мои обращаются к Берлину, где так счастливо прошло мое детство. Вы помните наши изумительные детские праздники, которые так красиво умела организовать моя мама? Она, конечно, самая

большая из моих потерь, ведь она всегда думала только обо мне, и без ее совета я просто плыву по течению. Естественно, я постараюсь выиграть этот процесс, но мне не по себе от всей этой враждебности, и, как бы все ни обернулось, друзей у меня не останется. Человек, который купил бизнес моего мужа, дал понять, что Алоис мог бы управлять своими делами таким образом, чтобы удержаться на плаву; он, похоже, обвиняет меня в его крахе. Должна подчеркнуть, что Алоис был совершенно согласен с нашей договоренностью. Я должна сказать, что после того, как его объявили банкротом, он больше не интересовался слушаниями. Он сказал, что ему все дальнейшее безразлично, что больше он уже не может называться благородным гражданином, как он выразился. Я считала, что с его стороны это очень эгоистично, но к тому времени его здоровье было настолько подорвано, что у меня не лежало сердце с ним спорить. А после смерти мамы у меня больше ни к чему не лежало сердце.

Я бы хотела знать, что вы мне посоветуете. В бизнесе я ничего не понимаю, но, разумеется, способна бороться за свои права, и моя совесть чиста. Единственное, чего я боюсь, что это письмо вас не найдет, но я знаю, что, если вы все тот же,

каким я вас помню, вы сделаете все возможное, чтобы мне помочь. Конечно, может случиться, что вы переехали, но, если вы до сих пор так же здоровы и отзывчивы и так же галантны, каким были в тот краткий приезд в Нион, я знаю, что вы постараетесь мне помочь. Возможно, вы сможете приехать в Бонн; мой адвокат почти наверняка с большим вниманием отнесся бы к мужчине, чем к моей скромной особе, хоть он и уверяет меня, что старается. Я в этом сомневаюсь, но я всегда была слишком чувствительна. И мне не к кому больше обратиться.

Я также хотела бы узнать, как повернулась ваша жизнь с момента нашей последней встречи. Мать заметила мне, что вы стали красивым мужчиной и совсем не похожи на того застенчивого мальчика, каким мы знали вас в Берлине. Вы ей очень понравились, и она сказала, что ее сестра должна вами гордиться. Как вы знаете, наши матери не были особо близки, но успели обменяться очень нежными письмами. Нам трудно было представить себе, как вам живется в Лондоне, и создавалось впечатление, что ваша мать не обо всем рассказывает. Так или иначе, они перестали писать друг другу, и мать не сохранила ни одного письма, кроме того, которое использовала вместо

закладки. Читали ли вы „Будденброков“? Я вынуждена признаться, что так и не продвинулась дальше нескольких страниц. „Хиллтоп-роуд“ звучит очень симпатично.

Я искренне надеюсь, что вы в добром здравии и сможете навестить меня в Бонне. Нам будет о чем поговорить, и мне не терпится услышать ваши новости. До встречи, остаюсь вашей нежной кузиной, Фанни Шнайдер (Бауэр)».

Герц положил письмо на стол и восхищенно присвистнул. Она, конечно, выйдет за этого адвоката, если он доступен. У нее даже были мысли о союзе с ним, Герцем. Он умыкнет ее от всех этих затруднений, и они будут жить долго и счастливо на Хиллтоп-роуд. Он поразился ее великолепной самозаботе или, скорее, самообману. Но разве не все члены их семейства отличались этим качеством? Только Фредди оно было чуждо, но, с другой стороны, Фредди было чуждо все. Однако никто не достиг таких вершин, как та, с какой Фанни смотрела на весь остальной мир. Чистейший, первосортный эгоизм был ее рецептом успешной жизни. Она, как подтверждало это письмо, выпала из истории, рассматривала зловещие годы, предшествовавшие их изгнанию, в категориях красивых домиков и детских празд-

ников. Он не обольщался, будто бы заинтересовал ее как нечто большее, чем очередной агент, ему стало ясно, что ее муж не сдюжил защитить ее и показал себя сломанной тростинкой, хуже того — неудачным экземпляром, браком. Она не разделила с ним позор банкротства и оградила себя от этого успешно: как отделалась от ужаса, который никак не проявился в самодовольстве — воинствующем самодовольстве, сквозящем в ее письме. Он испытал к ней такую же благодарность, как и к Софи Клэй: она положила конец его любовным фантазиям, чего ей совершенно не удалось сделать в Нионе. Подобно большинству инертных по своей сути людей, она имела огромную власть над другими. Он любил ее или думал, что любил, много лет, игнорируя факты их долгого расставания (ибо что еще это было?) и поддерживая иллюзию, которая утоляла его неизбывную тоску. За все это время Фанни не удостоила его ни единой мыслью. Она всегда была и осталась женщиной, которая рассматривает других с точки зрения их потенциального применения. Он не мог даже разозлиться на нее, потому что ее нельзя было обвинить в рассчетливости, лишь в абсолютно естественном эгоцентризме. Лучше всего ее трудности мог уладить адвокат.

Или же она уладит все сама, с той железной несгибаемостью, которую, должно быть, унаследовала от матери. Он представлял себе, как она выходит из адвокатской конторы, изложив свои требования, и направляется к парикмахеру, или к портнихе, или в Konditorei,[5] такая же бездумная и беззаботная, какой была в юности, в Берлине.

Разве что теперь она постарела. Если волосы ее не были седы, то лишь благодаря искусству парикмахера; ее тело теперь требовало внимания самой опытной портнихи. И пусть даже она настолько чужда рефлексии, она не сможет игнорировать эти знаки или даже ощущения, приходящие к людям их возраста, что самая ценная часть их жизни ушла без возврата. Возможно, она даже пожалеет о своей минувшей молодости, которую она всегда рассматривала в терминах конкурентоспособности. Желание ее не потревожит, но только потому, что оно никогда ее не тревожило; она будет свободна от того гнева, той жажды последней новизны, которая может обернуться бедствием и оставит ей в наследство позор и неверие. Он, пожалуй, был должен ей свидание, коль скоро она этого просила, хотя и

---

[5] Примечания: 5
Кондитерская *(нем.).*

исключительно для своих целей. Но он не спешил предлагать ей встретиться. Его собственные дела для него важнее; его собственное здоровье требовало некоторой заботы, возможно, какого-то обследования. Смерть матери Фанни наводила на грустные мысли; должно быть, и саму Фанни тоже. В этом смысле она заслуживала его уважения. Ее любовь к матери была искренней, огромной, в отличие от его сознательного внимания, при котором мысли его часто блуждали, а глаза искали свободу, существовавшую, несомненно, где-то за окном больничной палаты.

Мысль о неравной борьбе Фанни, не с семейством ее последнего мужа, поскольку не вызывало сомнения, что она выиграет этот конкретный поединок, но со смертью, трогала его, несмотря ни на что. Как это неправильно, что ей, никогда не ведавшей неуверенности, предстоит сражение, из которого еще никто не вышел победителем. И она будет одна, чуждая тем самым людям, которые могли бы ей помочь: золовке, сутяге-племяннице. Он лучше, чем она, был подготовлен к встрече с тем опустошением, которое должно было начаться, если не шло уже полным ходом. В своем скромном восхищении ее неотзывчивостью, недостижимостью он всегда

был просителем ее милостей. Его мазохизм довершил остальное. Когда в этой роли оказалась она, баланс их отношений изменился не самым желательным для него образом. Он предпочел бы знать ее такой, какой она была в его памяти: непроницаемой, даже бесчувственной. Перемена мест теперь означала несимметричность, которая была для него почти физически болезненной.

Память об их первоначальных отношениях, установленных, когда они оба были юны, вновь удивила его своей силой. И тут каким-то образом надо учитывать это квазимистическое понятие о семье. Ему незнакомы были истинно семейные чувства, и на самом деле он тешил себя мечтами о самой скандальной нелояльности, но так или иначе сумел выжить в ячейке, где не было ни теплоты, ни общительности. Он, конечно, очень хотел обзавестись своей семьей, даже завидовал другим семьям. Почему бы иначе он цеплялся за те обрывки разговоров, что достигали его слуха на прогулках? Отпуск, во время которого он сидел в кафе, в ресторанах, на скамейках, закрывшись газетой, на самом деле был полон сигналов, которые мог расшифровать только он один. Этот муж, тот отец, та бабушка, вон тот

красивый ребенок — все было хлебом насущным для воображения, которое жаждало наполниться и даже пресытиться. По какой-то злой иронии судьбы, при этой мощной потребности он сумел прожить свою жизнь в самой строгой изоляции. Семья, которая у него могла бы быть, ощущалась им в виде невнятного шепота других жизней. И теперь, когда близок уже был конец, его фантазия упрямо обновляла воспоминания о тех ранних днях в Берлине, когда он сидел и ждал, что пятнадцатилетняя Фанни беспечно вбежит в залитую солнцем комнату и так же беспечно выбежит снова.

Он вышел в холод воскресных улиц, глухих к тому, что мог бы услышать он. В Бонн он не поедет. Это решение возникло как бы само собой. Он напишет ей, но не для того, чтобы ободрить, а чтобы посочувствовать. Он даст совет, хотя она ждала практической помощи, а еще больше поддержки. Но на Чилтерн-стрит, на Пэддингтон-стрит, на Ноттингем-Плейс, на Спэниш-Плейс, на Джордж-стрит, где он столько раз гулял, жалобная пустота напомнила ему о желанной дружбе, не менее сладостной от того, что она была вылеплена из его же слабого сердца.

14

«Дорогая моя Фанни, — написал он, — моя бывшая жена, милая женщина, недавно рассказала мне, что у нее возникла привязанность к мужчине, с которым, как я полагаю, она едва знакома. Она говорила это сдержанно, но в глазах ее была грусть, из чего я сделал вывод, что она влюбилась, — один из тех непредвиденных случаев, которые столь губительны в нашем возрасте. Мне нетрудно было ей посочувствовать, поскольку я узнаю эти признаки, этот пыл, который вновь воскрешает в нас тот, прежний пыл, хранящийся без дела в каждом из нас с юности. Именно он, этот пыл, так вольно задает вектор нашего утра и управляет нашими снами ночью. Я представил, как она живет своей монотонной жизнью в ожидании незапланированной встречи, очаровательной в своей отсроченности, пока очередное появление этого мужчины у нее на пороге не даст ей знать, что она не ошибалась, что действительно что-то существует и она себе ничего не придумала.

В итоге она совершила отважный и достойный

поступок: она уехала. Я думал, что такой же отважный и достойный поступок совершил я, когда оставил вас в Нионе, хотя фактически ничего другого мне не оставалось. Я стал убеждать Джози, мою жену, не отступать, и теперь вижу; что обращался к самому себе. Я не должен был оставлять все так, как оно сложилось в Нионе. Я должен был настоять, если не прямо в тот же момент, то позднее. Я должен был бросить вызов вам (и вашей матери), и возвращаться снова и снова, и задавать свой вопрос. Даже такой женщине, как вы, замороженной, наверняка надоело обходиться без мужского общества, или если не общества — все-таки для него у вас была замена, — то без почитания и без защиты, которые может дать мужчина. Вы зауважали бы меня, если бы я смог настоять на своем праве быть с вами, даже если бы я не сумел заинтересовать вас как мужчина.

Я сомневаюсь, что вы когда-нибудь рисковали потерять достоинство, как Джози, моя жена. Она объяснила мне, что считает себя за порогом возраста физической любви, не потому, что такие импульсы ее покинули, — напротив, — а потому что она знает, что слишком много потеряет, если предстанет стареющей женщиной мужчине, который, по ее словам, красив. Она приняла ге-

роическое решение, но, думаю, неправильное. Я теперь вижу, что достоинство имеет мало общего с привязанностями, которые слишком часто бывают несообразны. Я совершил в свое время ту же ошибку, и это причудливым образом доказывает, что мы с Джози мыслим похоже. Я никогда по-настоящему не думал о том, чтобы заняться с вами любовью, поскольку это было за пределами моих ожиданий. Я достиг бы большего, если бы относился к вам как к любой другой женщине; вместо этого я расточал почтение вашей столь самодовольной персоне и считал вас слишком прекрасной, чтобы питать к вам какие-то более грубые чувства. Кто знает? Вероятно, более откровенный подход был бы вам приятнее, хотя я все равно сомневаюсь, что вы бы расценили его правильно.

Я всегда считал, что вы редкое существо, настолько прекрасное и уверенное в себе, что можете сами делать выбор. Теперь я вижу вас намного отчетливее. Выбор за вас всегда делали другие, и вы принимали его, оставляя свою волю в запасе на случай, если от вас потребуются какие-то действия во имя выживания. Нельзя забывать, что мы оба были в той ситуации изгнанниками и что это положение требует некоторых

предосторожностей, примерного поведения, что ли. Я думал, что вел себя хорошо, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Я был, как всегда, подавлен вашей уверенностью, так сильно отличавшейся от моей обеспокоенности. Проще говоря, я не думал, что когда-нибудь смогу стать достойным вас. Все это, как вы помните, на фоне чайных чашек и первых аперитивов, входящих и выходящих людей, в атмосфере легкой жизни, в нереальной обстановке, создаваемой хозяевами всех отелей во всем мире. Стыдно признаться, но я чувствовал себя подавленным и этой обстановкой тоже, но больше всего тем фактом, что вы так естественно вписывались в эту особую обстановку. Видите ли, я держал в голове свои собственные непростые обстоятельства: тесная квартирка, родители, за которых я нес ответственность, работа, которая в ваших глазах была бы недопустима даже просто для любого знакомого, не говоря уже о муже. Но задним числом я понимаю, что ни в одном из этих обстоятельств не было ничего непоправимого. Я должен был бы уехать домой, найти другую работу, предоставить родителям разобраться в своей судьбе без моей помощи. Я полагаю, что ваши родители недолюбливали мою мать, и даже понимаю, что

их неприязнь, распространившаяся и на меня, отчасти была оправданна. Это след их отношений привел к тому, что мы с вами так воспринимали друг друга: я вас — как существо высшего, а вы меня — как существо низшего порядка, настолько, что не принимали в расчет. Таково проклятие, которое семьи передают по наследству своим потомкам. Больше всего я сожалею, что не способен был преодолеть эту преграду, отменить этот приговор. Но вы не то, что я. Вы просто никогда не выражали своих суждений, и теперь я думаю, и даже уверен в этом, что у вас вообще нет собственных суждений. Письмо, которое вы мне недавно написали, — дополнительное тому подтверждение, хотя мне они не требуются.

Я вернулся тогда в Лондон, полагая, что сделал все, что мог. Я слишком легко спасовал перед обаянием вашей жизни в Нионе, которое сумел ощутить на себе в тот краткий промежуток времени, пока не подошел мой поезд. Воздух был нежней, чем Лондонский, и улыбки на лицах встречных были, мне кажется, приветливей, чем обычно. С тех пор как я покинул вас там, моя жизнь была унылой, потому что я знал, что уклонился от величайшего эмоционального поединка: победы своей воли над вашей. Я ви-

жу теперь, что это было бы не так трудно, как я думал тогда. Ваше письмо ясно дает понять, что вы все еще в достаточной степени женщина, чтобы искать поддержки у мужчины, хотя то, о чем вы меня просите, смехотворно. Я не могу приехать в Бонн. Что мне там делать? Немецкий я почти забыл, и в любом случае, не думаю, что мог бы произвести впечатление на немецкого адвоката. И я не знаю, хочу ли я вас видеть такой, какая вы теперь. Я предпочитаю помнить вас той прекрасной девочкой, темная красота которой будоражила впечатлительные юные сердца. Вы теперь так же стары, как и я, с разницей в год или два. Джози, моя жена, сказала мне, что женщины больше боятся старости, чем мужчины, но я в этом сомневаюсь. Начиная со среднего возраста и дальше, если у человека нет детей, его ждут только потери. Вот в чем, по-моему, причина наших неудач. Если все, что занимает нас, это наше благосостояние, разве может у нас все идти хорошо? Я понимаю теперь, как хитра природа, как мы можем вопреки и во зло себе вдруг вновь пробудиться. Любовь может грянуть в любое время, как показывает пример моей жены Джози. Я поймал себя на том, что очень много думаю о ней в эти дни, больше, чем о вас. И все же вы остае-

тесь образом в моем мозгу, иконой, если желаете, неотделимой от жизнерадостности берлинского воздуха или мягкой полутени, окаймляющей озеро в Нионе. Вы всегда будете для меня молоды, и возможно, мне бы хотелось, чтобы вы остались такой. Я сам поражен, что в качестве пожилой немки вы меня мало интересуете. Я слишком ясно вас себе могу представить, потому что у меня наследственная память о таких женщинах, как вы. Возможно, вы даже утратили свои прежние черты, и смотреть на вас будет слишком горько. Без сомнения, вы помните меня весьма смутно и так же мало интересуетесь моей жизнью, как я вашей. И все же мое воображение — и ваше письмо — рисует некоторые детали, которые я обязан рассмотреть. Дом в Поппельсдорфе я легко могу себе представить. Намного сложнее обстоит дело с упадком вашего благосостояния, в котором вы вините мужа. Мне бы хотелось, чтобы вы не отказывались от вашего прежнего высокомерия, и смею сказать, что добрую долю его вы сумели сохранить, так же как и ваши активы. Однако вы беспокоитесь, как бы их у вас не отняли; вы даже призываете меня на помощь, после стольких лет молчания. Ваше письмо отражает ваше беспокойство о самой себе и больше ни о ком. Это

я также нахожу весьма характерным.

Позвольте объяснить вам, как я живу. У меня маленькая квартирка в центре Лондона, в районе, который мне больше не нравится. У меня обычные стариковские заботы: мое здоровье, моя способность противостоять переменам в повседневной жизни. Рано или поздно, и думаю, что очень скоро, мне придется подыскивать новое место жительства. Мои дни проходят в чинных занятиях: я много читаю (и советую вам начать „Будденброков“ заново), иногда гуляю и любуюсь картинами. Такие безвредные занятия не предохраняют от самых безумных порывов, которым мы так или иначе подвержены. Тут я возвращаюсь к Джози и ее мудрому решению бежать от таких искушений. И все равно я по-прежнему считаю это большим из двух зол. Я верю, что Природа знает лучше, каким бы жестоким унижениям мы ни подвергались с ее легкой руки. Я никогда не сомневался, что мы являемся на свет, чтобы боги развлекались за наш счет, и доказательств тому слишком много, чтобы можно было игнорировать эту жестокую шутку. В этом смысле вы ничем не хуже меня. Конечно же, я оценил ваше письмо, на многих уровнях. Но вы должны знать, моя дорогая, что я уже не

столь восприимчив. Сейчас меня может тронуть только та самая Природа, которая лишила нас с вами нашей красоты. Я могу откликнуться на цветок, на ребенка, на редкие проблески солнца, поскольку я не могу больше ответить женщине. Это потеря для меня, поскольку память настойчиво подкидывает разные подробности. Но я должен это принять, и вы должны. Дайте мне знать, как продвигаются ваши дела. Как заядлый читатель, я с нетерпением буду ждать окончания истории. И, несмотря ни на что, я все еще люблю вас. И всегда буду любить. Вы — часть моей жизни. Если я бы приехал к вам теперь, то уже не как чужой (я никогда не смог бы стать чужим), но как мужчина, который знал много поражений и так или иначе их пережил. Я могу дать вам совет, в меру своих умственных способностей, конечно, но пусть вас не удивляет моя неприветливость. Как сказано в одной из великих книг, которых вы не читали: если бы мне пришлось снова вас увидеть, ничего хорошего из этого бы не вышло. Несмотря на всю мою броню, приобретенную с таким трудом и в таких невзгодах, я мог бы влюбиться в вас снова и снова. Лучше я останусь вашим нежным кузеном, ваш Юлиус Герц».

Он перечитал письмо, разорвал и начал снова.

«Моя дорогая Фанни. Как чудесно получить от вас известие и наконец узнать ваш адрес. Как видите, я тоже переехал, но, возможно, надолго здесь не задержусь. Нам просто необходимо встретиться, чтобы обсудить эти и другие вопросы. К сожалению, я не могу приехать в Бонн, но мы можем выбрать для встречи некоторую промежуточную точку, где нам будет удобно. Может быть, в „Бо Риваж“? Я помню, что вам там было комфортно, и на меня это место произвело благоприятное впечатление за то короткое время, что я там пробыл. Погода здесь жесткая, как всегда в начале весны. Конечно, в Нионе еще тоже будет холодно, но в отеле о нас хорошо позаботятся. Сообщите мне, когда вы сможете встретиться со мной; чем скорее, тем лучше, я думаю, так как, к сожалению, наше время ограничено. Предоставьте все мне: вам нужно будет лишь купить билет. Теперь у вас есть мой номер телефона. Я жду, что вы позвоните, когда получите это письмо. Буду рад видеть вас снова после стольких лет разлуки. Ваш нежный кузен, Юлиус Герц».

Эта идея пришла ему в голову совершенно неожиданно, но сразу же волшебным образом расцвела неким подобием действия. Он и она встретятся в «Бо Риваж» на неопределенный

срок. Он не видел никакой причины когда-нибудь оттуда уезжать. Разве это не решило бы его проблему, а заодно и ее? Когда (и если) их совместное пребывание там подойдет к концу, он со спокойной душой отправит ее обратно в Бонн к ее махинациям и даст ей по возможности хороший совет. И еще он постарается сбить ее с темы, пробовать вновь, и, конечно же, тщетно, установить близость, которая всегда казалась ему возможной в подходящих обстоятельствах. В спокойной и сдержанной атмосфере отеля она, конечно же, избавится от чувства обиды, а он в то же самое время, вернув себе давно потерянное хладнокровие, будет гулять берегом озера, без планов на день, без утомительной рутины, без равнодушных контактов с людьми, которых он едва знает, без осторожного приготовления пищи, которую он больше не хочет есть. Он не любил гостиниц, но этот отель не был привычным функциональным учреждением, какие служили фоном его задумчивому отпуску. Тут был роскошный док для богатых проезжих, тихих бизнесменов, разведенных, довольных туристов того типа, которому он никогда не умел подражать. Почему, собственно, он должен вообще оттуда уезжать? Эта идея, такая же нечаянная,

сразу же увлекла его. Может, это как-то решит его проблемы, к которым он все никак не подступится, — если нельзя добиться постоянства, пусть будет, по крайней мере, длительная отлучка. Когда он окажется там и успокоится, он позволит себе раствориться в окружающей действительности, вернет утраченное достоинство, поймет, что быть изгнанником — его судьба, и, возможно, признает это справедливым. Он вырвет Фанни из объятий ее забот и вылепит из нее идеальную спутницу жизни. Воспоминания и упрочивающиеся дружеские отношения облегчат ему задачу. И за обеденным столом, и за чайным столиком напротив него будет чье-то лицо, они будут обмениваться ни к чему не обязывающими замечаниями, будут вместе гулять, создавая иллюзию симбиоза, того симбиоза, к которому он всегда стремился. Их будут считать парой, но они не будут связаны интимностью и путами физической близости. Он ясно видел, как они будут жить в соседних номерах, но не смежных. Таким образом будет поддерживаться достоинство, тот вид достоинства, которого он едва не лишился. Он наконец-то станет пенсионером и будет вызывать уважение, которое будет ему понятно и приятно. И его дом станет тогда всего лишь местом, где он

когда-то жил, а заменит его берег озера, словно у него всегда был такой запасной вариант. Здесь он обретет покой и уж точно не будет скучать, поскольку Фанни ему не даст. Она заняла теперь свое место в его мысленном пейзаже, но уже не такой, какой он всегда ее рисовал, а просто как знакомая, которую интересно было бы открыть для себя заново. Она тоже должна превратиться во что-то новое, поскольку та девочка и та женщина, которую он когда-то любил, станет такой же незначительной фигурой, как он сам. После этого долгого существования в скобках он займет наконец свое настоящее место. Поскольку оказалось, что все предприятие было каким-то образом закодировано у него в голове, помимо его воли и без его активного участия, он принял эту идею как неизбежность. Охваченный внезапным волнением, он начал строить планы, а ведь всего несколько часов назад и помыслить об этом не мог. Он оставит квартиру и вернется сюда, только чтобы окончательно ею распорядиться. Или же он вернется через несколько недель, зная, что у него есть возможность выбора. Он даст Бернарду Саймондсу доверенность, велит ему оплатить его расходы из средств, которые будут находиться на его счету. Когда (и если) придет такая необходи-

мость, Саймондс сможет освободить квартиру. Словно действуя в соответствии с этой вероятностью, он выдвинул все ящики стола, вытащил пачки накопившихся бумаг и разорвал, оставив только фотографии, как реликвии из жизни, которой больше не будет. Его даже не удивило, что он питает так мало привязанности к своему прежнему существованию, хотя он знал, что в момент отъезда безмолвные предметы еще явят свою привлекательность, перед которой будет трудно устоять. Он чувствовал легкость во всем теле, как будто сбросил тяжкую ношу. Оставалось сделать лишь одно, точнее, только одну реальную вещь. Он снова взялся за авторучку.

«Моя дорогая Джози, — написал он. — Возможно, я на некоторое время уеду. Не волнуйся, если не сможешь до меня дозвониться. Бернард Саймондс будет вести твои дела, и пособие будет тебе выплачиваться столько времени, сколько будет нужно. Отъезд мой несколько неожиданный, но я испытываю потребность сменить обстановку. Я надеюсь, что у тебя все хорошо и тебе не слишком одиноко вдали от Лондона. Мне трудно представить себе твою жизнь, и столь же трудно вообразить себе твое мужество. Такой героизм теперь мне был бы не по силам. Интересно, поче-

му мы сами от себя требуем таких усилий воли, когда небольшая моральная слабость могла бы принести намного более приятный результат? Но я всегда восхищался твоей целеустремленностью, которая на самом деле превосходила мою. Ты всегда считала меня непрактичным, с презрением относилась к моим потугам облегчать жизнь своим близким, и ты была права, потому что мои усилия всегда основывались на неверном понимании характеров. Не всегда можно сделать жизнь лучше; я всегда буду сожалеть о том, что не сделал лучше твою жизнь. Но ты всегда была предусмотрительной и, возможно, любила меня не в полную силу, разумно оставляя про запас чувства для другого мужчины, которого могла бы встретить. Я любил тебя, возможно нереалистично, как это мне свойственно. Я только надеюсь, что ты не будешь одинока, ведь ты всегда была такой жизнерадостной. Не позволяй себе все время проводить у постели матери. Прости, что даю тебе такой жалкий совет; конечно же, ты сделаешь так, как сочтешь нужным. Я надеюсь, что ты не позволишь прошлому слишком далеко вторгаться в настоящее. В этом всегда была моя ошибка. Мне легко сказать тебе, что я тебя люблю. Думай обо мне иногда. Всегда твой, Юлиус».

Он запечатал письма, наклеил марки, опорожнил корзину для бумаг и понял, что день уже почти закончен. В доме не было ничего съестного, но Герца это не беспокоило: в будущем ему не придется заботиться о еде. На смену волнению пришло понимание цели, достижение которой зависело только от него самого. Ему приятно было вступить в эту новую независимость, которую, наверное, можно было бы ощущать бесконечно. Но не здесь, не в этой квартире, где постоянно возникают какие-то новые трудности и те безликие «другие» стараются согнать его с насиженного места. Он сделал себе пометку позвонить Бернарду Саймондсу после того, как сходит на почту, в универсам, в химчистку, и во все другие места, которые он теперь считал не чем иным, как малозначительным сопровождением жизни, которая в скором времени резко переменится.

Он захватил письма, обмотал горло шарфом и вышел из квартиры. На лестнице он услышал на удивление громкие шаги Софи Клэй.

— А, Софи, — сказал он, не пряча лицо, когда они столкнулись на лестнице. — Как раз вас-то мне и нужно. Я тут собираюсь освободить свою квартиру. Вы не знаете никого, кто бы захотел ее снимать?

Глаза ее заметно расширились.

— Само собой, без проблем. Я знаю пару человек, которых это может заинтересовать. А вы, значит, уезжаете?

— Да, — ласково сказал он. — Я на некоторое время уеду. Квартира будет сдаваться по ежемесячному договору, разумеется, возобновляемому. Скажите вашим знакомым, чтобы со мной связались. Конечно, мне нужны будут рекомендации. Я вам дам адрес моего поверенного. Он обо всем позаботится.

— А куда вы едете?

— Ну, это все еще не решено. — По некоторым причинам он предпочел сохранить свои намерения в тайне. На мгновение у него закружилась голова, и он увидел, как переезжает в «Бо Риваж», другой дом, куда он, может быть, вернется, а может быть, и нет. — Наверное, вам было бы приятно жить в одном доме с другом.

— Да, конечно. Я завтра же этим займусь.

— Спасибо, — сказал он ровным голосом. — Буду ждать от вас вестей.

— Там дождь, — предупредила она.

— Мне только на почту, — сказал он. — Нужно, чтобы письма ушли сегодня вечером. — Он бы даже поцеловал ее на прощание, не ворвись в

этот момент реальность в образе взрыва музыки из магазина телеаппаратуры. Последний клиент, подумал Герц. Бедные мальчики; им так не терпится уйти.

На улице шел дождь, лишь немногим отличавшийся от тонкой пелены тумана, который смягчил линии зданий и даже придал легкую поэтичность окрестностям, едва ли способным пробудить нежные чувства. Он поднял взгляд на крыши, ощетинившиеся телевизионными антеннами, вновь опустил глаза к темным пока окнам. Небо уже темнело; признаков весны еще не было, но холодная влага несла в себе обещание зелени, новой жизни после временного бездействия. Такое небо даже можно было принять; его непрозрачная синева напомнила ему о некоторых картинах, хотя никакая картина не могла соперничать с этим странным чувством постоянного, с земляной коркой, готовой вернуться к жизни, с корнями, которые расползаются во все стороны, чтобы цветы могли раскрыться, с деревьями, милостиво выпускающими побеги. Флегматичность природы никогда не переставала его поражать. Этот процесс пробуждения, безусловно, превосходил что бы то ни было запечатленное на холсте, однако искусство освоило

все явления. В своей непрерывной борьбе со временем за удерживание его мгновений искусство победило, но только истинное. Величественное безразличие природы служило для того, чтобы указать человеку его место, и уж конечно для того, чтобы внести поправки в замысел художника. Когда холст был завершен, он стал уже пережитком, не подверженным изменениям. А изменчивость, без сомнения, первична; все должно ей повиноваться. Игнорировать этот процесс — все равно что игнорировать свидетельство собственного эволюционного цикла.

Герц удивлялся тому, как он мог воображать себе состояние постоянства. Возобновление было гораздо более широкой перспективой, которая затрагивала его будущее, а не робкое настоящее. Он думал, каким он будет в новом окружении, без истории, мягкий, учтивый, приятный в общении. Это идеальное состояние, хотя и утратившее некоторую резкость очертаний, обладало очарованием сна и, подобно сну, было бесконечно убедительнее действительности. Логика занималась другим, и Герцу знакомо было мимолетное удовлетворение художника: это было его создание, возникшее в процессе, который был практически ненамеренным. Именно эта незна-

комая власть и ее побуждения впечатляли его больше всего. Скорость, с которой день принимал форму, была просто пугающей.

Он несколько утратил свою уверенность, пока гулял. Это была прощальная прогулка по небольшому городскому саду, прежде чем его закрыли на ночь. Больше ему не сидеть там, не проводить время в думах о прошлом. Прошлое теперь будет если не вовсе отброшено, то, по крайней мере, преобразовано в эту почти незнакомую женщину, этот нереальный пейзаж, это невообразимое будущее. От одной перспективы у него подкашивались ноги; он замедлял шаг, и тело вдруг напоминало ему о своем весе. И все же ему не хотелось домой. Дом в некотором смысле не соответствовал событиям дня. Он почти с раздражением вспоминал чувство скромной благодарности, которое испытал, когда только обзавелся квартирой, удивленное восхищение, с которым он ее обставил, свою робкую гордость домовладельца. Теперь та же самая робость его опечалила. Он увидел, что всю жизнь жил как будто под угрозой, как будто по-прежнему нес на себе знаки той первоначальной опасности и чудовищности судьбы, которая ему, возможно, была уготована. Это и сделало, по его убеждению,

единственным выходом мимолетность, изгнание, непостоянство — путь, проложенный им так давно. И ему потребовалась целая жизнь, чтобы это понять! Наконец-то он займет свое место в истории. Создавая свой дом в стране, знаменитой своим нейтралитетом, он подчинится наследственным импульсам. В этом направлении лежит безопасность, которой он все еще может пожелать.

Он вернулся в квартиру в шесть, размотал влажный шарф и тяжело опустился на стул, который вскоре должен будет покинуть. Провел пальцами по маленькому столику, который косвенным путем перешел к нему от матери Островского, и подумал, что самым тяжелым для него будет эта разобщенность между опрометчивым оптимизмом и пессимизмом, который был его естественным состоянием. Его эйфория улетучилась после прогулки, во время которой, как он ни боролся с собой, он был обманут холодными улицами, тусклой поэзией знакомых мест. Оставить одну жизнь ради другой, причем совершенно неизвестной, внезапно показалось ему невозможным. Он неожиданно сам навлек на себя бремя Фанни. Иллюзия прошлой любви, построенной почти полностью на воспомина-

ниях, бледнела по сравнению с сомнительным союзом, который выковался у них с Джози, чья живость и жизнерадостность держала его на плаву в течение всего их непродолжительного супружества и по которой даже теперь он тосковал, особенно с тех пор, как стало понятно, что он никогда ее больше не увидит. Если бы ему хватило мужества ей позвонить, она бы ободрила его, рассеяла его страхи (ибо теперь он боялся), но инстинкт подсказывал ему избегать общения с ней. Вероятно, он поймал ее врасплох, когда ее собственные страхи вылились в меланхолию, мало чем отличающуюся от его. Он хотел, чтобы она оставалась неизменной, и, вновь сравнивая ее честность с жалобами Фанни, знал, которая из этих двух женщин достойна его уважения. И все же справедливость и уважение имеют так мало общего с любовью! Человека любят не за его достоинства и хороший характер, и даже теперь образа Фанни, какой она была когда-то, было достаточно, чтобы затмить настоящую Фанни, какой он, возможно, ее увидит, в барочной обстановке, которая скорее всего не придется ему по вкусу, в праздном общении, которое послужит иронической сноской к его напряженным вдумчивым дням.

Но те дни тоже были в прошлом. Он сел за стол, чтобы написать последнее письмо, после которого уже не будет больше писем.

«Дорогой Бернард, я уезжаю на некоторое время и буду вам крайне признателен, если вы позаботитесь о моих делах во время моего отсутствия, возможно длительного. У вас есть мое завещание и арендный договор на квартиру; пожалуйста, воспользуйтесь ими, если потребуется, и снимите необходимые средства с моего счета в банке, реквизиты которого в моем завещании. Куда именно я поеду, пока не вполне ясно; очень может быть, что я осяду за границей. Сегодняшняя Европа — не та Европа, которую я когда-то покинул: аборигены теперь стали весьма дружественными. Правду сказать, решение мое очень рисковое, но, как вы и полагали, приходит время и приходится принимать решения. Все необходимые детали вы найдете в прилагающемся документе, который также дает вам доверенность. Я благодарен вам за нашу дружбу; вы всегда были чудесным собеседником. Также заранее благодарю вас за следование этим несколько туманным инструкциям. Я планирую уехать через неделю или две, и когда устроюсь, сообщу вам свой новый адрес. Желаю вам всяческих благ и благодарю за добро-

ту. Всегда ваш, Юлиус Герц».

Он пошел в кухню, приготовил себе чаю и выпил чашку, стоя у окна. Он забыл купить продукты, но и чаем можно обойтись. И вдруг он страшно задохнулся, стал хватать ртом воздух и почувствовал, что сердце скакнуло куда-то в горло. Когда приступ утих, он обмяк и долго не мог отдышаться. Он добрался до стула и почти что ради эксперимента достал из нагрудного кармана таблетки и положил одну под язык. Не прошло и нескольких минут, как он почувствовал, что его отпустило, сначала грудь, потом голову. Так что таблетки действительно действовали. Приятно знать. Негромкое погромыхивание жестяной коробочки, в которой они хранились и которой он обычно пренебрегал, могло, оказывается, вселять уверенность. Восстановив дыхание, он осторожно разделся и лег в постель. Последняя осознанная мысль его была о том, что нужно побыстрее оправиться, чтобы реализовать свои планы. Потом он позволил своему сознанию отдать швартовы, вспомнил почему-то мать и забылся сном.

15

Инстинкт подсказывал ему действовать стремительно, даже поспешно, изящно скрыться, предоставив другим утрясать детали. Рациональное мышление, к которому он, случалось, еще имел доступ, диктовало ему помедлить. Это в очередной раз доказывает, что руководствоваться инстинктом если не лучше, то во всяком случае проще. Ему еще предстояло избавиться от квартиры и дождаться ответа Фанни. Фанни, однако, в холодном свете разума оказывалась такой же эфемерной, какой была всегда. Он поймал себя на мысли, что если Фанни не проявит себя столь же импульсивной, каким поначалу был он сам, то она будет представлять для него меньший интерес и уж точно меньшую ценность. Он вспомнил потрясающий сон, в котором она им командовала, совсем как в старые добрые времена, забрала у него пальто и таким образом как бы обездолила его. Это вызвало целый спектр ощущений, главным из которых было извращенное удовольствие, которое он всегда испытывал, когда ее ждал, а на самом деле ждал чего-то от

нее, никогда по-настоящему не разочаровывался, если она была не в состоянии ответить на его ожидания, всегда откладывая исполнение желаний на будущее, в котором он наконец будет принят ею как равный.

Теперь этот процесс ему представлялся катастрофической тратой сил. Исполнение было важнее ожидания. Именно по этой причине он считал свою инстинктивную поспешность и настойчивость правильной, считал ее двигателем, который может напрямую привести его к его собственному удовольствию. Он жаждал, чтобы считались с его эго и подчинялись его воле. Он видел, конечно, что никто, кроме него самого, его воле не подчиняется. Отсюда открывалась более трагическая перспектива, та же, что в его прошлой жизни, в которой его волю слишком эффективно подавляли, и уделом его стала пожизненная скорбь. Но если это объяснение удовлетворяло его, то сознание того, что он провалил важный экзамен, который должен пройти мужчина, было невыносимо. Его воля была на службе у других, другие использовали ее, как им заблагорассудится, и, допустив это из ложного стремления облегчить кому-то жизнь, он отказался от части себя, чего не могли и не

стали делать другие, и таким образом утратил свое право на уважение. Он видел, что инстинкт, побудивший его отказаться от своей жизни, хотя бы только ради последовательности фантазий, которые могли оказаться нереализуемыми, был совершенно правильным побуждением недоиспользуемой способности, которая, возможно, спасла эту жизнь или сделала ее более кипучей, изобретательной и определенно более успешной. И все же своим хорошим поведением, исполнительностью и полным конформизмом он добился респектабельности, но не снискал уважения. Это был урок, который он получил в одну тяжелую ночь, когда образ отставки на берегу озера отступил в туманы этого самого озера, оставив его все так же жаждущим другой жизни, другого общества и нисколько не освободившимся от предрассудков.

Он видел короткий сон, слишком короткий, который мучил его словно загадка. Он видел, что стоит на тротуаре людной улицы в разгар обычного дня и, кажется, ожидает какой-то встречи. На другой стороне, на противоположном тротуаре, он видит человека, которого надеялся встретить. Это женщина в строгом пальто и юбке и широкополой шляпе. По тому, как она

была одета, он сделал вывод, что это женщина средних лет, или, возможно, дело происходит в более давние времена. Она подняла руку в знак приветствия, и он сделал то же самое, хотя знал, что не должен делать большего — не должен переходить запруженную машинами дорогу, чтобы присоединиться к ней. Сон заканчивался на этой ноте — не колебанием, а предостережением, как будто в попытке приблизиться к ней он мог утратить всякое достоинство, всякое благоразумие. Он знал, что если бы сделал шаг навстречу, то отказался бы от своих прав, что это осмотрительность удержала его за поднятую руку. Так могли бы приветствовать друг друга двое просто знакомых, но ставка была выше. В этом как будто была замешана любовь на какой-то стадии, любовь, которую он хотел удержать в пределах знакомых границ. Женщина, казалось, ждала его, но это его не подгоняло, не побуждало к действию. Весь сон, таким образом, состоял из этого образа, из его поднятой руки и ее, менее отчетливой, а также из осознания запрета, с которым он смирился и даже сам на себя наложил, ради того чтобы сохранить лицо.

Из этого он постепенно вывел, что его отношения с женщинами все еще неразвиты, что

хорошие манеры вновь и вновь маскируют желание, и эта маскировка или усмирение изменили его естественные свойства. Что бы ни удерживало его от действия во сне, в свете утра это получило другое объяснение: инстинкт уступил потребности избежать противоборства. Теперь ему казалось это серьезной потерей, как и то, что его любовь к женщинам всегда была умерена желанием не вредить им. Как любовник он был слишком добр. Те далекие вечера, которые проходили в ожидании Фанни, были потрачены впустую; даже теперь он был готов ее ждать. Смутное понимание этого подтолкнуло его к действиям, которые спорили с высшей мудростью одностороннего действия, спешки, пренебрежения последствиями, чистого инстинкта, восстающего против многолетней осторожности. Эгоизм, даже жестокость, могли бы поставлять ему другие наслаждения кроме тех, что он знал в браке, и хотя они были для него важны, теперь было совершенно ясно, что главным для него были не сами наслаждения, а опыт свободы. Так что его побег, спланированный им за несколько часов, был фактически не более чем метафорой, из тех, за красотой которых можно скрыть более мрачную правду.

Он жалел о том письме к Фанни, которое порвал, потому что в том письме он выразил какую-то часть этой более мрачной правды. Он вновь оградил ее от этой более мрачной правды и одним актом уничтожения письма не смог с этой правдой разобраться. Потому что то письмо выражало горечь неудавшейся любовной интриги, в которой Фанни, как он теперь уже считал, нисколько не была виновата. Конечно, нехорошо с ее стороны было так презрительно с ним себя держать, но женщины, несомненно, испытывают презрение к мужчинам, которые уважают их до той степени, когда самопожертвование переходит в глупость. Его фантазии о ней были так соблазнительны, что он не замечал их суррогатности, не считал низкопробным продуктом, который в конечном счете окажется обманкой. Большим достоинством его столь практичной жены было то, что она была из тех женщин, о которых ни один мужчина не мог фантазировать; отсюда его открытое наслаждение ею, а также понимание их несовместимости. Остальное были поэзия, искусство, но с искусством пришла искусственность, приспосабливание, намеренное незнание истинного положения дел. Он большую часть своей жизни прожил в шкуре художника:

как любовник и в особенности как обожатель Фанни, он предлагал ей не что иное, как поклонение поэта. А она, самая обычная женщина, воспринимала это как нечто такое, что можно бесконечно возобновлять, как ресурс, который можно использовать, когда иссякнут другие ресурсы. Отсюда его сдержанность в этом сне. В буквальном смысле, думая о ней так, как он сейчас думал, он не перешел бы улицу ради нее.

И все же он смутно признал ее присутствие в своей жизни. Ее письмо, со всеми жалобами, раскрыло другую правду: она была одинока. И он был одинок. Им ни в коем случае не стоило искать общества друг друга. Словно вопреки этому, они были чрезвычайно здравомыслящими.

Ее письмо предлагало план действия, который с виду имел много плюсов, главным образом как альтернатива их проживанию в изоляции. Он не сомневался, что это был ее план. Он, как и всегда, ответил с тем рвением, которое всегда характеризовало его отношения с нею.

Главное, что его привлекало в этом плане, — это побег, уход, его воля, опрометчиво ищущая удовлетворения, хотя бы в разрушении его осторожной жизни. Ибо именно таким ему виделся план. Прежде всего, благоразумным, хотя могло

показаться, что это вторично по отношению к тому мимолетному отказу от предусмотрительности, отказу продолжать тщательно делать все то, что он делал в своем нынешнем респектабельном виде. Того факта, что его жизнь не принесла ему никакого удовольствия, было достаточно для обвинительного приговора. Теперь он стал относиться более доброжелательно к своей краткой, но подлинной страсти к Софи Клэй. Это, как он теперь видел, была любовь: он влюбился в нее. И ему не нужно было указывать себе на то, что поздняя любовь всегда смехотворна. Он наблюдал за нею, следил за каждым ее жестом, ловил, как безумный, звук ее шагов; он испытывал к ней чувства молодого человека. В этом была его трагедия. Он пережил это единственным известным ему способом — замкнувшись еще больше. Отчасти это помогло, и теперь он мог вполне непринужденно с ней разговаривать. Он не поддался искушению убежать, а вновь призвал на помощь хорошие манеры. И тем не менее пыл, который не был потрачен на завоевание такой женщины (любой женщины), не вполне логично принял форму запоздалой идиллии с еще одной женщиной, к которой, как теперь выясняется, он почти ничего не испытывает. Это напомина-

ло брак по расчету, какие приняты в закрытых сообществах. В этом браке каждый будет сам по себе, будет ощущать недостатки другого, будет стараться шутливо извинять их, в пример всем другим правильным и несчастливо женатым зрителям. И он — и она тоже — привели этот механизм в действие! Потому что это было настолько рациональное предложение, что отклонить его не нашлось бы причины. Они — двое одиноких людей, которым дали шанс на товарищеские отношения в том возрасте, когда товарищеские отношения уже не в ходу. Тем не менее он жалел, что он не поехал вперед, бряцая оружием, независимо от того, присоединится к нему Фанни или нет. Он получил бы мимолетное удовлетворение, действуя импульсивно, не беспокоясь за результат. Ни при каких условиях этот поступок не обратил бы его прошлую жизнь в историю провала, что так стесняло его дыхание, сжимало грудь. Именно это чувство провала заставляло его каждую ночь класть под язык таблетку, с тех пор как его планы спутались. Мгновенное облегчение, вызванное лекарством, отчасти обманывало его: еще не все потеряно, можно изобрести задержку, продолжить, разумеется, но в своем темпе и в соответствии с собственными пожеланиями. Эти

пожелания, увы, совпали бы с желаниями той, чья воля всегда оказывалась не ее собственной волей. В конечном счете он мог оказаться в такой же зависимости от Фанни, в какой она обещала оказаться от него самого.

Он мог, конечно, отодвинуть этот план на неопределенный срок. В его распоряжении были десятки оправданий. Он мог сослаться на необычно холодную погоду, хотя на самом деле заметно уже теплело. Он мог сослаться на необходимость привести в порядок дела, хотя фактически никаких дел не было. Но объясняться было не с кем, поскольку мир оказался безразличным. Письма, пожалуй, получились неблагоразумными, а то, что предназначалось Бернарду Саймондсу, было слишком уж прощальным. Оно могло пробудить подозрения в этом чрезвычайно разумном мозгу. Письмо к Джози просто было неуместным; она его проигнорирует, как игнорировала большую часть его излияний. Фанни — сама хозяйка собственных планов и вряд ли станет ему подчиняться. Оставался нерешенным вопрос с квартирой. Он поручил эту проблему Софи, которая может решить ее за пару недель, если не дней. Но он сомневался, что примет кого-нибудь из кандидатов, которых она может предложить,

и даже если они со всех сторон его устроят, всегда сумеет вывернуться. По правде говоря, он больше не хотел, чтобы в его квартире поселился чужой человек. Он может просто сказать, что передумал. Это ее разозлит, но она уже и так на него злится. Перспектива монотонных дней вновь стала его привлекать. Все же моралью того любопытного озарения, которое к нему пришло, — о том, что он подвержен переменам, что ради самого себя он должен вызвать эти перемены, — была, по-видимому, неизбежность. Она предстала перед ним как решение всех проблем, и хотя он знал, что идеальных решений не бывает, он до сих пор еще хранил память о том почти эстетическом волнении, которое обточило его фантазию почти до завершенности или, если не завершенности, то красоты законодательного акта. Он как будто пишет книгу, книгу своей жизни, или чьей-то бесконечно более важной. Он себя ощущал своим собственным героем: то, что он делает, это сюжет. В то же время он сомневался, достаточно ли он храбр, чтобы быть этим героем. Он знал, что ему не хватает героических качеств. Даже разумные аспекты плана его больше не привлекали. Его право — принимать в расчет собственные колебания. Дальнейшее чувство провала касалось

лишь его, и милосердный остальной мир смотрел на это сквозь пальцы.

Стук в дверь вернул его к действительности, к тому, что сейчас пятница и три часа дня, и к непривычно мощному потоку солнца, бьющего в окна. Он пошел впускать гостя или не гостя.

На площадке стояли Софи Клэй с каким-то молодым человеком.

— А, Софи, — сказал Герц. — Вы сегодня рано.

— Мы по поводу квартиры. Я думала, это срочно. Знакомьтесь — Мэтт Хендерсон. Он ищет жилье, а на следующей неделе он улетит в Нью-Йорк, поэтому такая спешка…

— Входите, входите. Не слишком рано для чая?

— О, мы не хотим чая, — сказала она.

— Зато я хочу. И в любом случае нужно кое-что обсудить. Проходите, мистер Хендерсон. Присаживайтесь. Значит, вы собираетесь на следующей неделе в Нью-Йорк. Тогда вам, наверное, хочется решить все до отъезда. Хотя должен вас предупредить, что могу несколько задержаться с отбытием. Мои планы еще не до конца созрели.

Мистер Хендерсон, который еще не произнес ни слова, пропустив вперед Софи, вошел в гостиную с вежливой и дружелюбной улыбкой. Его поразительное лицо явно пользовалось этой

улыбкой во всех формальных случаях.

— Я надеюсь, мы вас ни от чего не оторвали, — сказал он.

— О, вы американец.

— Наполовину. Моя мать американка, а отец англичанин. Я рос и здесь, и в Штатах. И в основном я работаю здесь, хотя часто езжу домой. Как тут здорово. — Он с удовольствием осмотрелся, не выражая никакой обеспокоенности тем, что планы Герца могут не совпасть с его собственными. Его прекрасная голова, обрамленная темными вьющимися волосами, несомненно, явилась причиной того, почему Софи так быстро занялась этим проектом. И неспортивные, но впечатляющие линии тела говорили сами за себя. Герц отметил, что Софи не сводит взгляда с этого молодого человека, а когда они еще стояли на пороге, она бросила на Герца выразительный взгляд, в котором Герц даже прочел мольбу. Она положила глаз на этого Хендерсона, который казался абсолютно непроницаемым для ее пристального взгляда, но Герц видел, что, если у них еще нет романа, она намерена сделать его своим партнером. Герц видел, что она им увлечена, а он ею — нет. Этот молодой человек не нуждался в помощи богов: его внешность и манеры помо-

гут ему достичь любой цели. Он пока что был Ипполитом для любой Федры, неподвластный женским расчетам, способный невинным продолжить свой путь неразбуженного человека. Он наверняка понимает, что ему повезло с внешними данными, однако достаточно воспитан, чтобы их игнорировать. Несомненно, он сам делает свой выбор. Он понимал, что у него есть средство достигнуть своих целей, и это объясняло его раскованную самоуверенность.

Но не в случае Софи. Герцу было забавно, но одновременно с тем и грустно видеть, что этот мужчина, который сейчас внимательно осматривает квартиру, волнует Софи настолько, что она становится другой, превращается в просительницу. Как еще можно истолковать почти резкий взгляд, который она бросила на Герца, словно открывая ему свои намерения? Как ни трудно ей было выражать свои чувства — а Герц видел, что у нее эта проблема была всегда, — ее глаза теперь говорили за нее. Маленькое застывшее личико Софи было столь же непроницаемо, как всегда, но он заметил напряженность в ее позе. Ему показалась прискорбной эта потеря автономности, как в его, так и в ее случае, но он надеялся, что она в достаточной степени женщина, чтобы с этим

справиться. Но неизвестно, насколько успешно. Мужчины лучше к этому приспособлены, чем женщины. И Софи, собственные эмоции которой казались недоступными, всякую неуместную нежность со своей стороны будет воспринимать как нарушение приличий. И это так. Внимание мистера Хендерсона было полностью поглощено квартирой, он с довольным выражением лица тщательно осматривал все углы. Пройдя мимо Софи, он коснулся ее плеча добрым дружеским касанием. Герц мысленно вздохнул. Вот, значит, чем можно покорить женщину — не мольбами и даже не напором, а явным безразличием. Герц не смог себя заставить обратиться к молодому человеку по имени, и это также подтверждало, что уважением к себе он обязан в равной степени красоте и самообладанию. Видно было: если он захочет, он поселится в квартире в ближайшее же время.

— Я, с вашего позволения, приготовлю чай. Действительно, вы тут походите, осмотритесь, мистер Хендерсон. Как я уже сказал, планы мои еще не вполне ясны мне самому. Я собирался уехать в ближайшее время, но на деле могут возникнуть некоторые препятствия, так что получится значительная задержка. Вам это может

не подойти.

— Чай — это было бы чудесно, — сказал мистер Хендерсон. — Я все равно пробуду в Нью-Йорке большую часть месяца. И я совсем не хочу вас торопить. Наверное, Софи вам говорила, что я ищу постоянный адрес? Если я нашел то, что искал, — а я думаю, что нашел, — я бы мог и подождать.

— Понимаю. Так вы думаете, что это вас устроит?

— Уверен. Хорошее место, хорошие коммуникации и так далее. А гараж здесь есть?

— Нет, — сказал Герц, надеясь, что это его охладит. — Но метро совсем близко. До «Бейкер-стрит» и «Марбл-Арч» несколько минут ходьбы.

— Я могла бы вас подвозить по утрам, — вмешалась Софи, и на ее обычно бледных щеках проступил румянец.

— Вы вместе работаете? — спросил Герц.

— Мы познакомились через работу. Оба работаем в Сити. Софи кое-что делает для моей фирмы.

— А, краткосрочный контракт.

— Вот именно. Она знала, что я ищу место, и сказала, что в одном доме с ней может быть что-то подходящее.

— Ясно, — устало сказал Герц. — Как вам подать чай?

Он был почти сражен, не подкупающим отсутствием напора, а уверенностью молодого человека в том, что его потребности будут удовлетворены. Так он и движется по жизни. Крупная сумма денег, которую он упомянул, вывела Герца из ступора.

— Квартира не продается, — строго сказал он. — Хотя когда-нибудь, возможно, ее и будут продавать. Я имел в виду отъезд на месяц или два. Но, как я уже сказал, возможно, я уеду и на более долгий срок, может, далее навсегда. Это зависит не от меня. Я понимаю, что это делает квартиру менее привлекательной в ваших глазах.

— Нет, все прекрасно. Мне здесь очень нравится. Я готов согласовать свои планы с вашими.

— Мне потребуются рекомендации, как вы понимаете.

— Разумеется.

— Софи мне сообщит, когда вы возвращаетесь из Нью-Йорка. Тогда мы сможем снова все обговорить.

Но Софи, которая не отрываясь смотрела на мужскую руку с чашкой чая, лишь рассеянно пробормотала:

— Конечно.

Герц испытал неприятное чувство жалости.

Значит, ей тоже суждено быть жертвой. Мысль эта не принесла ему никакого удовольствия.

Они расстались друзьями. Герц закрыл дверь с чувством облегчения, хотя ему показалось, что в квартире стало необычно тихо. Это была не та тишина, что сопровождала его одинокие дни, но тишина, какая устанавливается после ухода молодежи. К своему удивлению, Герц был рад их посещению, хотя оно имело губительные для него последствия. Он видел, что они имеют право требовать, ощущать свои преимущества, не обращать внимания на тех, кто стоит у них на пути. Что его поразило, так это их физическая раскованность, которую он уже давно забыл. Разве может их уверенность вдруг дать осечку? Хотя теоретически решение было за ним, Герц почувствовал, что с ним могут и не посчитаться. Что значат его планы в сравнении с их планами?

Позже, вечером того же дня, раздался телефонный звонок.

— У меня тут Мэтт, — сказала Софи. — Вы не хотите к нам присоединиться, выпить вместе?

Между ними установилась своего рода взаимная симпатия, за которую Герц был благодарен. То, что он догадывается о ее чувствах, расположило Софи в его пользу. То, что не было никаких

признаний, позволяло ей улаживать свои дела в своем стиле. Он чувствовал себя как надо — покровителем — и подозревал, что она это тоже ощутила. Он вздохнул. Это та роль, которую старики вынуждены играть, иногда против воли. Однако он принял приглашение и даже несколько оживился. Все это не могло его не волновать. Кто кого победит? Он имел право немного развлечься этим спектаклем. Герц причесался, вооружился чистым носовым платком, словно собирался идти в театр. Он будет зрителем. Их юность закрепила за ним эту роль.

Судя по всему, он пришел как раз перед антрактом, поскольку за то время, что его не было с ними, что-то произошло. Хотя они обменялись приветливыми взглядами, молодому человеку было явно не до Герца. Он смотрел на него рассеянно, и даже измученно, а на Софи совершенно иначе. Герц очарованно смотрел на этот бессловесный обмен взглядами. Мистер Хендерсон, казалось, пробудился от своей нейтрализующей любезности. По взгляду занимающегося удивления в его глазах, по мгновенной энергичности ответной улыбки Софи Герц понял, что это был священный миг, возможно, миг сошествия богов на землю. Он присутствовал при том странном

единении, которое столь редко наступает в один момент у двух человек. И когда это случается, будущее перестает иметь значение. И его будущее тоже, подумал Герц. Все, о чем сейчас они будут говорить, абстрактно, несущественно. Он был растроган, да и не мог не быть. Земные практические соображения остались в стороне. Он тактично сказал Софи, что пошел к себе, и она кивнула в ответ с томной улыбкой, какой он никогда не видел прежде на ее лице. Из чистого благоразумия их нужно было оставить одних. То, что случится дальше, свидетелей не терпит, как видно было по почти ритуальному выражению их лиц. Любовь в который раз подтверждала свою исключительность, свое торжествующее право на обладание. Герц был рад, что так осторожно ушел, не проявив неуместного интереса. Его мыслям сейчас подошла бы лесная тишь городского сада, самое близкое к классической поляне или роще место. Его обрадовало также, что его собственные планы могли теперь подождать, и никто не заикался больше ни о каких рекомендациях. В их признании друг друга и важности этого мгновения явилась Красота, которая сама по себе была рекомендацией. Никаких дополнительных рекомендаций не требовалось.

Их зримая зачарованность — они в буквальном смысле были как заколдованы — делала слияние двух одиночеств, его фиктивный брак, непрошенно желанным. То, что он увидел, был мистический момент, когда желание еще не охватило их и не начало управлять их движениями, и все же именно желание, или осознание желания, читалось в их широко открытых глазах, в порозовевших щеках и губах. Это были чувства из мифов, легенд; они навевали мысли даже не о Купидоне, а о Пане, об Аполлоне, которые не гнушались изнасилованием и превращали тех, кто их отвергал, в деревья. Но в глазах этих двоих не было никакой жестокости; они были слишком унижены этим очевидным насилием, чтобы принимать его или подвергать сомнению. Их драматическое соединение было по меньшей мере поводом удивиться, понять, что такое возможно в обычных обстоятельствах, между самыми обычными людьми и что предугадать результат всего этого или даже следующее движение — невозможно. Мир востребует их снова через некоторое время, но на один невероятный миг один познает другого, как предписывает некий идеал. Даже зритель мог быть вовлечен в эту пьесу, а в следующее мгновение почувствовать, что вновь

лишился этого окошечка в другое измерение, и с грустью осознать свое нераскаянное, потому что земное, состояние.

Когда он вернулся к себе, ему показалось, что все его вещи покрыты слоем пыли. Это была метафора, поскольку Тед Бишоп всего за два дня до этого все вытирал. Как безопасное место квартира себя оправдала, но теперь казалось, что безопасность была иллюзорной. Ее займет кто-то другой, когда абсурдная затея Герца начнет воплощаться в жизнь. Об этом почему-то казалось правильным думать в терминологии слияния компаний, ассигнований, деловых соглашений, которые не имели никакого отношения к скромным занятиям. Мгновение счастья, которому он стал свидетелем, сделало его фантазии какими-то серыми, ибо чем можно вознаградить себя без участия высшей силы? Невозможно было остаться равнодушным к тому, что он видел, к этим заряженным взглядам… В них не было ничего преднамеренного, и в этом была красота. Даже знание, что в конечном счете все это опустится на уровень банального, каждодневного, ничего не меняло. По сравнению с этим его предложение Фанни встретиться в Нионе, когда-то преисполненное великого смысла, ка-

залось смехотворным. Это имело смысл, потому что он не подверг это испытанию, не согласовал с прожитой жизнью, полагал, что впереди у них беспроблемная вечность. Он подумал о письме Фанни, о ее жалобах. Никакого сомнения, что он будет выслушивать их снова и снова. И как же он будет жить, видя ее неудовлетворенность? Ибо он не сомневался, что его задачей будет — поддерживать и утешать. Следующим шагом будет уговорить ее вернуться в Бонн, чтобы уладить дела. И все же предложенное им соглашение может оказаться весьма достойным. Он с жалостью и презрением вспоминал волнение, которое испытывал, ожидая Софи Клэй. Возможно, оказывается, любить даже на таком расстоянии, и теперь он знал, что жизнь без любви будет пустыней, и, кроме того, пустыней, которая подомнет его под себя, втянет его настоящее и даже будущее в прошлое, со всеми мертвыми, чьему отсутствию он почти завидовал.

Когда зазвонил телефон, Герц подумал, что это Фанни, и даже почувствовал облегчение оттого, что она ответила на его письмо, но это был Бернард Саймондс, судя по голосу — усталый и слегка обиженный.

— Юлиус? Я получил ваше письмо, но думаю,

нам необходимо встретиться, чтобы все обсудить. Мне кажется, вы поступаете опрометчиво.

— Мне самому так кажется. Я, кажется, сдал квартиру.

— Вы ничего не подписывали?

— Нет.

— Я совсем не уверен…

— Бернард, мы можем встретиться? Мне нужен ваш совет.

— Конечно. Я так понимаю, что в офис вам бы приезжать не хотелось?

— Нет. Давайте пообедаем, где обычно.

Он подождал, пока Саймондс сверится с ежедневником, потом согласился на следующий вторник. Фанни отступила на некоторое расстояние. Если ему повезет, она будет думать долго, и у него останется шанс самому что-то решить.

16

Совет Бернарда был краток, но убедителен: настаивайте на ежемесячном договоре, который в случае надобности может быть расторгнут без предупреждения. После того как вердикт был вынесен, Саймондс набросился на равиоли с живостью, которая Герца несколько насторожила. Он не был настроен на этот разговор. Утром пришла открытка из Бад Хомбурга. В ней изящным почерком Фанни было написано: «Наслаждаюсь краткой отсрочкой своих неприятностей. Подробности письмом». Из этого он сделал вывод, что она при деньгах, с нетерпением ждет успешного разрешения своей тяжбы и благополучно его забыла.

Следовательно, Герц был обязан — именно так — уехать в «Бо Риваж» по крайней мере на месяц, скорее всего в одиночестве, чтобы удовлетворить неизменно вежливые, но настойчивые расспросы мистера Хендерсона о будущем квартиры, которая, судя по всему, сама собой уплывала у Герца из рук. Если он ее освободит, даже на самое короткое время, то уж не в собственных интересах, а скорее

в интересах мистера Хендерсона, к которому он почему-то испытывал необъяснимую симпатию. Молодой человек, которого часто встречал на лестнице или на площадке перед дверью Софи, явно пылал любовью и был настроен решительно, однако остался достаточно здравомыслящим, чтобы заботиться о собственных интересах.

Герц испытывал к нему нежность, как к ребенку, который переходит улицу, не потому, что тот был влюблен, а потому, что видно было, что он думает, будто ситуация у него под контролем. Он бы с удовольствием отвел его в сторонку, чтобы объяснить, какие трудности его ожидают впереди. Возьмите мой случай, сказал бы он: ошибочная юношеская любовь к женщине, которая больше меня не волнует, довела меня до целой путаницы шагов, из которой, кажется, вовсе нет выхода. Память о юношеской эйфории, пусть даже самой неподдельной эйфории, осудила меня на изгнание. И в вашем случае та же самая эйфория, которую я лично наблюдал, может исчезнуть; ваше первоначальное единство может распасться, если дойдет до столкновения интересов. Софи далеко не невинная дева, ожидающая в своем тереме принца, а вы, как мне кажется, защищены гораздо меньше.

Что касается меня, я, пожалуй, на вашей стороне и даже готов уехать, покинуть свой дом, просто потому, что ваши желания намного сильнее моих. Я тоже выбрал себе спутницу, хотя теперь вижу, что недооценил ее. Нет никаких сомнений, что в это самое время она занимается собственными делами и не вспоминает обо мне. Вот что меня занимает: откуда ей знать, что мною движет? Как она может оценить мою ситуацию, когда ее голова занята исключительно собственными заботами и едва ли можно надеяться, что она уделит внимание тому, кем я стал, — по сути, незнакомцу, жизнь которого уже почти подошла к концу и который надеется дальнейшими фантазиями — о спасении — продлить эту жизнь и хоть как-то наладить, хотя бы только восстановить чувство собственного достоинства, уже почти непоправимо вытравленное? Вот в чем проблема, сказал бы он. Вы тоже можете обнаружить, что зашли туда, куда благоразумнее не ходить. В каждой любви, будь она настоящей или мнимой, таится бесчисленное множество опасностей.

— Я против того, чтобы вы сдавали квартиру, — сказал Бернард Саймондс, — хотя, вы, конечно же, имеете право поехать в отпуск. Но вы ведь можете просто уехать на месяц-другой и не свя-

зывать себя такого рода договоренностями.

— Я имел в виду длительное отсутствие, — пробормотал Герц. — Как-то раз мне пришло в голову, что это могло бы решить мои проблемы.

Перед ним снова промелькнул первоначальный образ себя: он, в роли некоего праздного гуляки, прохаживается по берегу озера, приятно улыбаясь женщинам, становится желанным спутником, или, если не спутником, то этаким идеальным сопровождающим. Единственное, что осталось от этого образа, столь далекого от правды, это недоумение, как он мог так радикально отойти от фактов. Но был и другой импульс, силе которого он не мог противиться: необходимость в безрассудном поступке. Поступки ему были не свойственны. Он знал, что от природы осмотрителен и даже нуждается в страховке, так что когда он осторожно движется по знакомым улицам, рука его сжимает гремящую жестяную коробочку с таблетками. И таблеток осталось уже немного, что означало очередной визит к врачу. Это было неизбежно; он изменил свое отношение к этим таблеткам. Одну таблеточку под язык на ночь — и безболезненный переход в сон гарантирован. Он не знал, да и не хотел знать, почему они оказывают лечебный эффект. Его мать от

всех своих болезней принимала одну таблетку, а множество лекарств, которыми пичкали его брата Фредди, привели только к тому, что у него совершенно пропали все желания. Но Герц был не прочь подчиняться этой потребности, пока такая потребность оставалась. Он говорил себе, что не зависит от таблеток ни в каком смысле; он их воспринимал не как потребность, а скорее как особый вид удовольствия. Они позволяли ему с нетерпением ожидать безмятежной ночи, а это было неоценимое благо.

— Вы, разумеется, настояли на рекомендациях, — сказал Саймондс. — Они вас устроили?

— О да.

Они были не просто приемлемы; они были идеальны. Они больше, чем все остальное, склоняли Герца в пользу кандидата, как он про себя его называл. Его характеризовали как славного работника, хорошего специалиста, получающего достойное вознаграждение за исполнение своих служебных обязанностей. Эти рекомендации, во всяком случае, добавляли еще больше к тому специфическому блеску мистера Хендерсона, который сам по себе уже содержал элемент идеала. Если в дополнение к его роскошной внешности он был таков, каким его изображали в рекомен-

дациях, то, очевидно, он обладал благородным характером. Это лишь подтверждало желание Герца его защищать, даже вопреки собственным интересам. В то же время его собственные интересы казались второстепенными по отношению к перспективам мистера Хендерсона, а по сути — ко всему его будущему. Герцу не трудно было принять закон природы: молодежь нужно предпочитать старикам, которых она в конечном счете сменит. Тягостные обязанности, которые у них впереди, нужно смягчать удовольствиями, созвучными им — опять же по своей природе, — пока они молоды. И мистер Хендерсон был так ослепительно влюблен, что Герц чувствовал, что на его пути не должно быть никаких преград, ничто не должно уводить в сторону. В настоящее время единственным препятствием был только сам Герц. Поэтому ему просто суждено было тактично исчезнуть. Так, таинственным образом, его туманные выдумки воплощались в жизнь по необходимости. Именно это сказал бы он в одной из тех воображаемых бесед, которые никогда не будут иметь место. Однако из этого можно было сделать выводы, и Герц не сомневался в их ценности. Одна простая идея, одно желание, может обрасти такими событиями, что в итоге

неизбежно придется прийти к компромиссу. В его конкретном случае симпатия к этому чужому человеку приведет к тому, что ему придется удалиться со сцены, вместо того чтобы наслаждаться действием, хотя бы даже со стороны. Поэтому ему придется отказать себе в законном интересе, даже доброжелательном интересе, просто для того, чтобы дать другому жить в своей квартире.

Что касается Фанни и его приглашения, он больше не знал, что думать или как действовать дальше. Не мог же он отменить его теперь, пусть даже потребность в ее присутствии уменьшилась. Открытка из Бад Хомбурга подтверждала то, что он всегда подозревал: что она ветрена и, кроме того, что она получает такие приглашения каждый божий день. В Бад Хомбурге было дорого, и при этом она дала понять в письме, что у нее финансовые затруднения. Его планы никак не соотносились с ее реальным положением, хотя из письма можно было понять лишь то, что положение ее весьма шаткое. Фантазия о том, как они с удобствами перенесутся в некий золотой идеал, проходила таким образом дальнейшую проверку. Его собственные средства зависели от возможной продажи его квартиры, однако, если он ее продаст, он останется бездомным. Он сумел

убедить себя, что Фанни примет такие же меры, и они заживут вдвоем, не беспокоясь о своем общем благосостоянии.

Теперь он видел безумие этого предположения. Фанни не было никакого резона бросать свою нынешнюю жизнь, так же как и ему — бросать свою. За краткий миг опрометчивого оптимизма ему теперь придется сурово расплачиваться. И на это он тоже, посредством самых тонких аналогий, хотел бы указать мистеру Хендерсону в одной из тех бесед, которые никогда не будут иметь место. Он жаждал теперь такой беседы, признания молодежи, общества бескомпромиссных. Это тоже была фантазия, но, как и первая его фантазия, она выросла из некоего весьма реального инстинкта, в данном случае — из мечты о сыне, чье желание сменить его он бы счел совершенно законным. Вместо этого Герц осудил себя на дальнейшую бездетность, поскольку постояльцы «Бо Риваж» отнюдь не молоды и объединены духом товарищества людей, побитых жизнью. Во время своего недолгого пребывания в Нионе Он мельком заметил на других столах всякие микстуры, отвары, лекарства и даже поздравил себя с тем, что уязвим только в силу природы своих притязаний.

Он часто задавался вопросом, не отразился ли

результат той поездки на всей его последующей жизни, и не в этом ли причина его нынешнего решения туда вернуться, заново сдать проваленный экзамен, возвратить туда уже изменившуюся Фанни, чтобы довести до благополучного конца ряд событий, который всегда казался ему неоконченным, как будто режиссеру этой комедии или трагедии не хватило вкуса придумать если не счастливый конец, то хотя бы такой, который устранил бы каким-то образом то долгое сожаление, какое не покидало Герца с того самого дня до сих пор, и даже теперь казалось ему незаслуженным.

Фантазии никогда не соответствуют действительности, думал он, это и делает их фантазиями. Человек создает себе воображаемых друзей, воображаемых отпрысков, а неумолимая природа реальных обстоятельств то и дело рушит его построения. И постоянная несогласованность между фантазией и действительностью вынуждает человека с грустью признать свои ограничения. В фантазии он волен быть тем франтом у озера, который даже теперь заимствовал чьи-то посторонние черты, имел усы и трость с серебряным набалдашником, словно актер в каком-то забытом фильме. Только в таком маскарадном облике

он мог себе доказать свою состоятельность. Требовать от своей невыразительной особы такого перевоплощения было невозможно, так же, как невозможно вообразить Мэтью Хендерсона почтительным слушателем его болтовни. А наяву звучали шаги мистера Хендерсона, которые всегда заканчивались у входной двери Софи. В этом было что-то печальное, и однако в те редкие разы, когда они сталкивались все втроем, ему становилось тепло от того, что они влюблены, и он, широко улыбаясь, не делал попытки их задержать. В этом тоже были элементы идеальной ситуации, и он не собирался ничем ее нарушать.

— Вам следует переслать мне эти рекомендации, — говорил Саймондс. — На тот предмет, чтобы я мог проверить, нет ли здесь какой-то уловки. В противном случае вы можете оказаться в довольно уязвимом положении.

— Я согласен.

— О себе не забывайте, и отдохнуть вам действительно нужно. Вам просто даже самому понравится. Красивый уголок Европы, прекрасное время года…

— Да, только заранее довольно трудно предугадать, как все сложится. У меня есть в голове определенная картина, но я подозреваю, что она

сильно отличается от истинной.

Его картина основывалась на одних воспоминаниях о размытом и тихом синем сумраке, роскошной обстановке, о сдержанном фоне к беседе, оказавшейся скучной и бесплодной. Правдой было то, что наутро перед его отъездом восход солнца успокоил его и дал ему отложить свои горькие мысли до тех скорбных дней, которые были еще впереди. Даже теперь, на Чилтерн-стрит, солнце набирало силу, словно черпая ее из стремлений и желаний мистера Хендерсона, и залитая светом квартира становилась просторнее. Это опять была метафора, но на этот раз совершенно точная. Появление на сцене главного действующего лица, которым был теперь уже не Герц, приводило к пересмотру отношений внутри труппы, так что второстепенные персонажи поневоле занимали свои новые места. Солнце было демократично, и им мог наслаждаться любой, даже изгнанник. Герц знал, что, будь его воля, он стоял бы у окна и глядел на улицу, поджидая возвращения молодых людей, и с улыбкой отворачивался бы, боясь оскорбить их своим присутствием.

Он признался себе в том, что этот вечер оказался неудачным. Они с Саймондсом оба были

несколько разочарованы встречей, Герц был рассеян, забывчив, невнимателен к гостю. Для него важнее была его собственная внутренняя драма. По крайней мере его абсурдное положение могло стимулировать дальнейшие размышления, которые могли в какой-то момент оказаться полезными. Некоторым из этих размышлений он был обязан письму Фанни, и даже в большей степени ее открытке, в которой ее характер читался яснее, чем когда-либо. В прошлом тот факт, что у них разные и даже противоположные характеры, его не удерживало. Теперь он чаще проявлял нетерпение, пожимал плечами, чего не позволял себе ни в юности, ни даже в зрелом возрасте. Ему больше не хотелось, чтобы она просто была рядом: скорее напротив. Вместе они являли бы собой трогательную, но неверную картину бывших возлюбленных, соединенных тем самым минувшим временем, которое отняло у них всякую притягательность. Он слишком недавно узрел тех, кто пользуется расположением природы, чтобы думать иначе, и если по отношению к Фанни это было несправедливо, тут уж он ничем не мог помочь. Несправедливость — это тема детских споров. Процесс, в результате которого человек, несмотря на все свои старания,

оказывается не у дел, гораздо темнее. И он не станет ясней, пока перед глазами есть такой непосредственный пример счастья. Тайные улыбки влюбленных обращают все мысли о достойной зрелости в бегство. Не было свидетельств того, что Фанни рассталась с убеждением, будто ей должны больше, чем она получила, и будто это несправедливо. И он еще вызвался выслушивать ее, разбираться за нее в этом лабиринте, в этой скверной путанице, восстанавливать ее чувство собственного достоинства, выражать восхищение ее стойкостью! Вот какую роль он написал для самого себя. Удивительно, что он пошел на такое безрассудство, которое опрокинет ожидания всех, и в первую очередь его собственные. Где это произойдет, больше не имело значения. Важно то, что это нужно сыграть, декларировать, пусть даже только для себя самого. Прежде всего для себя. Такое безрассудство будет красиво как acte gratuit,[6] без последствий. Именно последствия, сказал бы он любому молодому человеку, который согласился бы его слушать, портят всю потеху.

— А какие планы у вас, Бернард? — спросил он.

---

[6] Примечания: 6
Немотивированное действие *(франц.).*

— Ох, я думаю, что в какой-то момент мы разойдемся. Возможно, даже в следующем месяце.

— С Элен?

— Да.

— А сейчас вы живете дома?

— О да. — Выражение лица его стало капризным.

— А другая ваша подружка?

— Ну, она тоже пока дома. Ее муж в Сингапуре по делам. Мы бы наверняка встречались, если бы Элен не настояла на том, что мы с ней все время должны быть вместе. Так что видимся мы редко. Не смотрите на меня так, Юлиус. Я вижу по вашему лицу, что вы меня осуждаете. Насколько я помню, вы на меня здорово напустились в прошлый раз.

— Да, и потом сожалел об этом. Просто в последние дни я стал как-то далек от мира. Как вы представляете себе ваше будущее?

— Я его вообще себе не представляю, вот в чем беда.

— Да, тут я могу вам посочувствовать. Мое будущее тоже в тумане.

— Не надо беспокоиться. Мне понадобится ваш новый адрес и телефон, разумеется. И еще я хотел бы знать сроки.

— Сроки чего?

— Ну, когда вы намерены возвратиться?

— А вы, стало быть, полагаете, что я вернусь?

— Почти наверняка. Мне очень жаль, Юлиус. Я не должен был обсуждать с вами свои неприятности.

— Я сам вас спросил.

— Просто вы всегда были таким хорошим слушателем.

«И вы тоже», — подумал Юлиус. Былых дружеских встреч, обмена опытом тоже больше не будет. Герц почувствовал знакомые признаки приближающейся одышки.

— Не пойти ли нам? — спросил он. — Вы, наверное, устали после рабочего дня.

Саймондс взглянул на него:

— Вам плохо? Вы что-то бледны.

— Все нормально. — Он заплатил по счету со всем самообладанием, какое ему удалось собрать. — Не ждите, Бернард. Я тут еще немного задержусь.

— Ну смотрите.

Они расстались со смешанным чувством неподдельной привязанности и некоторого взаимного недовольства. Герц спокойно сидел, пока не смог нормально дышать.

— Что-нибудь еще, сэр?

— Проводите меня до такси, будьте так любезны.

Пожилой официант повел его к двери, поддерживая под локоть.

— Давно не видели вашу даму, — сказал он. — Такая славная женщина.

— Моя жена? Да, очень славная женщина. — Он протянул пятифунтовую банкноту. — Спасибо.

Ночь, во всяком случае та ее часть, которую видел Герц, была необычайно безмятежна. На Чилтерн-стрит было тихо. В окнах Софи не горел свет. Герц сознавал, как неловко он взбирается на тротуар, выходя из машины. К этому унижению он уже привык, как и ко многим другим. Он подумал о том, что у Господа Бога не все продумано: тело живет своей жизнью, и процессы, происходящие в нем, неумолимы. Ему хотелось только одного — добраться до кровати. Ночь, которая обычно всегда его утешала, в данном случае не справилась со своими обязанностями. Можно было бы попросить у врача успокоительное, если, конечно, это не повредит здоровью. Он пометил у себя в настольном календаре: записаться на прием. «Я ухожу в отпуск, — скажет он хмуро, оттого что это правда. — Не будете ли вы так любезны

меня принять?»

— Мистер Герц, — сказал врач. — Поклонник Фрейда, если я правильно помню.

— Теперь уже не такой рьяный. Но в том, что касается снов, я с ним действительно согласен. В том, что они — проявление нашего желания. Или его отсутствия, — сказал он, с неохотой вспомнив свое самое недавнее толкование.

— Это точно. А теперь закатайте рукав, будьте добры.

Герц покорно вытянул бледную руку на столе. Из дальней комнаты доносился высокий бодрый голос медсестры, напомнивший ему о Джози. Он отметил, что акварель, которая ему так не понравилась, заменили на репродукцию «Подсолнухов» Ван Гога, причем такая же точно висела в приемной у его дантиста.

— Интересно, что у вас не висит чего-нибудь более подходящего, — сказал Герц. — Например, «Урок анатомии доктора Тульпа».[7] Это дало бы возможность поговорить о том, как далеко шагнула медицина со времен Рембрандта, о сканерах, о микрохирургии, о таблетках. Собственно говоря, я как раз по поводу таблеток. Видите ли,

---

[7] Примечания: 7
Полотно Рембрандта ван Рейна.

я скоро уезжаю…

— Одну минуточку, — сказал врач, оборачивая вокруг руки Герца манжету.

— Ой, извините.

— Очень высокое давление. Вы принимали лекарство?

— Ну, в последнее время нет.

— Вы должны принимать его каждый день.

— Да-да, я буду. И мне бы еще то лекарство, которое выписывал доктор Иордан. Я его не принимал, но в поездке…

— У вас бывают неприятные явления?

— Так, иногда. Небольшая одышка, ничего особенного.

— Я должен вас послушать.

Холодный стетоскоп прошелся по его груди, по спине. Герц надеялся, что его бедное неосторожное сердце будет вести себя смирно.

— Аритмия. Я бы хотел, чтобы вы прошли обследование.

— Разумеется, только после того, как вернусь. Видите ли, я завтра уезжаю.

— Хорошо, но договориться нужно заранее. Как долго вас не будет?

— Не могу сказать.

— Такими вещами пренебрегать нельзя.

Но Герц знал, что сердце — его союзник и не продлит его жизнь на больший срок, чем необходимо. А об остальном позаботится его выносливость.

— Придете на прием, как только вернетесь. Избегайте стрессов, это ваша задача номер один. Возможно, если вы начнете к этому серьезно относиться, будет лучше. Стрессы неизбежны. Ну хорошо, счастливо вам отдохнуть.

— О да, спасибо.

Обошлось, сказал он себе; ко всем этим вопросам он был готов. Он щедро отблагодарил доктора и неуклюже вышел под его внимательным взглядом. Он действительно оказался нездоров, и таким образом оправдал потраченное на него время. Но ему очень захотелось выйти во внешний мир, так сильно, как никогда прежде. Оказавшись на улице, он оторвется от въедливого детектива, каким вдруг проявил себя врач. Но ведь ходить к врачам всегда тяжело, напомнил он себе. И по крайней мере теперь у него есть рецепт на лекарства. Он чувствовал себя, как будто его уличили в мошенничестве, сорвали с него маску. Так оно и было. На этот раз он ушел, но в следующий уже так легко не отделается.

Когда он вышел на улицу, солнце стояло еще

высоко, но он знал, что скоро оно опустится в красивый зеленоватый сумрак. Он не спешил домой. Он тянул время, как мог, невидящими глазами пялясь на витрины, мимо которых проходил каждый день, но ему так и не удалось отделаться от грустных мыслей в блекнущем свете второй половины дня. В универсаме он купил свой обычный набор продуктов, улыбаясь детям, и матерям, и насупленному менеджеру. Мало кто улыбался в ответ — все были слишком поглощены мыслями о пище, которую нужно приготовить, или о делах, которые надо успеть закончить до конца дня. Люди, которых он встречал утром, были ему ближе. Но это происходило оттого, что по большей части это были такие же старики, как он, и, так же как он, не знали, чем себя занять.

Дома он заварил чаю, решив, что новости смотреть у него желания нет. В данный момент внешний мир мало что мог ему сообщить; в голове его помещались лишь мысли о собственных проблемах. И даже они ему надоели. Он бы с радостью просто по-человечески с кем-нибудь их обсудил. Бернард Саймондс его поведения не одобрил, хотя был слишком вежлив, чтобы откровенно высказать свое мнение. Он посчитал Герца прискорбно непрактичным и, хуже того,

осудил за то, что тот вовремя не попросил совета. По тому, как он ел, как не спросил разрешения, прежде чем зажечь сигарету, было заметно его раздражение. Герц чувствовал себя принятым на ту роль, которая для него написана. То, что кто-то, тем более друг, считает его недотепой, было лишь еще одной причиной для грусти. Он медленно пил чай, чувствуя, что руки у него слегка дрожат. Когда раздался звонок в дверь, Герц едва не подскочил от неожиданности, и только годами прививавшаяся дисциплина не дала ему заметаться по комнате. Когда он открыл дверь и впустил Софи, сердце его все еще тяжело бухало в груди. Если он так реагирует на то, что прервали ход его мыслей, как же он переживет поездку, весь этот шум и суету?

— Входите, входите, — сказал он. — Не хотите ли чаю?

— С удовольствием.

Он смотрел на нее, пока она вежливо пила чай. В ней произошли перемены, заметные только для него, поскольку он привык ее рассматривать. Узел на затылке немного растрепался, и на щеку падала прядка. Губы утратили тот естественный цвет, который так оживлял их, и казались сухими. Время от времени она прикусывала

внутреннюю сторону щеки.

— Вы устали, — мягко сказал Герц. Его переполняла покровительственная любовь к ней.

— Да уж, есть от чего устать. Я к вам насчет квартиры.

— Я так и подумал. Но ведь Мэтью еще в Нью-Йорке.

— Он звонил мне вчера вечером, спрашивал, приняли ли вы решение.

— Мы с ним договорились, что до его возвращения ничего решать не будем. Он сказал, что его не будет месяц.

— Но он немного беспокоится. Вообще-то он очень сильно беспокоится.

— А почему он не поселится у вас?

— Тесно. И он хочет жить отдельно. Это можно понять.

— Он будет вам еще звонить?

— Думаю, да. — Вид у нее был грустный, она с трудом держалась прямо, как ее, наверное, учили в детстве, чайную чашку поставила на стол.

— Вы любите его? — спросил Герц, все так же мягко, чтобы ее не оскорбить.

— Можно сказать и так.

— А он вас?

— Возможно. Я знаю, что у него в Штатах есть

подружка. Они когда-то были помолвлены, потом она разорвала помолвку. Но они до сих пор встречаются.

— Я бы не стал переживать по этому поводу. Никто не начинает с чистого листа. Я знаю, что приятнее было бы думать так. — Он снова вспомнил тот шок прозрения, которому он был свидетелем, и поразился тому, как прямота и неизбежность того мгновения деградировала до соображений верности, сентиментальности, всего того груза, который, так или иначе, заслонил первичную истину. Он хотел сказать ей, что глупо тратить такие мгновения, и без того редкие, на понятия, оставшиеся от какого-то катехизиса прошлого. Он не сомневался, что они устраивали обсуждения, выкладывали карты на стол, выясняли как прошлые, так и нынешние отношения. И с каждым откровенным признанием беспокойство Софи росло. Видно было, что она беспокоится больше, чем ее возлюбленный, великолепие которого защищало его от подозрений, что на поле могут быть еще игроки. Герц в который раз поразился той породистой тупости, которая присуща всякому классическому герою, чья благородная внешность служит для того, чтобы показать миру его превосходство. В театре это было бы в самый

раз. В жизни такое неведение давало основание для подозрений.

Софи была встревожена своими предчувствиями, хотя, вероятно, была не в состоянии их измерить. Непринужденность, с которой молодой человек улетел в Нью-Йорк, не считаясь с велением этого мгновения или, возможно, не сознавая силу этих новых уз, выкованных одним махом, оборачивалась против него, открыв путь сомнениям. Бледные губы Софи, ее обычно невыразительные, а сейчас широко открытые глаза говорили о том, что она несчастна. Ее обычная одеревенелость шла ей больше, подумал Герц. Он не мог этого сказать, и вообще не знал, применимы ли теперь те законы, какие действовали в пору его юности. Не его дело советовать, да и не ждали от него путного совета, считая зачерствевшим от старости человеком, у которого остались лишь тусклые воспоминания о прежних чувствах. Он мог бы сказать ей (но не станет) о постоянстве таких чувств, о тоске по любви, что переживает любой возраст, о тех других желаниях, неуверенные голоса которых слышатся человеку до тех пор, пока смерть не положит конец всем чувствам и всем желаниям. В любом случае ей это говорить было бесполезно. В силу своей молодости она бы-

ла чрезвычайно искушенной в отношениях, как это теперь называют, и при этом не была готова к такому испытанию. Все это он хотел сказать ей, но знал, что она сочтет его самонадеянным болтуном, замкнется, уйдет в холод, который он уже вызвал в один несчастный день, о котором ему думать не хотелось. Он пытался принять вид благосклонного слушателя, но это ему не удалось. Ситуация была для этого слишком серьезной, слишком серьезной для Софи, чтобы думать о собственной храбрости и сдержанности.

— Доверьтесь своим чувствам, — сказал он. — Если вы будете тратить время на пустое беспокойство, вы можете упустить что-то важное.

Что бы он ни сказал, все уже было сказано сотни раз. Его оскорбляла мысль о том, что она сидит над телефоном, как другие женщины, — она, которая умела быть такой презрительной. Ему гораздо важнее было рассказать ей о бесчисленных разочарованиях тех, кто останавливался, чтобы оценить свои чувства, кто хотел быть справедливым к другим, кто гордился своей чувствительностью. Живите только мгновением, хотел он сказать; согласуйтесь только с вашими желаниями. Остальное — поэзия, и в любви ей не место.

— Я был бы рад стать вашим другом, и хотел бы, чтобы вы забыли прошлое, — сказал он. — Я уверен, что у вас все будет прекрасно. Только не тратьте время на пустые раздумья. Иначе всю оставшуюся часть жизни вы можете провести, сожалея об упущенном мгновении. Вы же знаете, что в таких делах осторожность никогда не окупается. Если будете сомневаться, можете лишить себя счастья. — Он услышал, что голос его прерывается, и торопливо прокашлялся. — Скажите Мэтту, — произнес он, прочистив горло, — что к тому времени, когда он вернется, у меня будет ответ на его вопрос. В конце концов, мы ведь с ним именно так договаривались. Ну что, теперь вам лучше? Больше не беспокоитесь? — Но он слишком далеко зашел, переступил черту и был наказан непроницаемым взглядом. — Еще чаю? — бодро спросил он. — Или вы спешите?

— Мне надо идти, — сказала она. — Так что сказать Мэтту, если он позвонит?

— То, что я вам только что сказал. Я дам ответ, как только сам его узнаю. Заходите, Софи. Да, и приятного вечера.

Когда уже совсем стемнело, он попытался дозвониться до Джози, полагая, что они могли бы обменяться в ночи какими-нибудь известиями,

но никто не отвечал. Позже он позвонил еще раз и с болезненным вниманием, словно это само по себе было известием, слушал, как телефон звонит и звонит в пустом доме, и было ясно, что так и будет звонить, пока он не оставит своих попыток.

17

Второе письмо Фанни было таким же толстым, как первое, но на сей раз отправлено правильно. Чтобы его прочесть, Герц сел за стол, как будто исполнял какую-то умеренно неприятную обязанность. Прежде чем пробежать глазами текст и подсчитать число страниц (пять), он отметил, что почерк стал слабее, как будто автор вот-вот выдохнется, или, что вероятнее, выдохнется авторучка. Жалобы, подумал он, как те, что пели менестрели, аккомпанируя себе на каком-то старинном струнном инструменте. Как-то раз он бывал на таком концерте в Вигмор-Холле, и ему не очень понравилось.

«Мой дорогой Юлиус, — прочел он. — Ваше письмо меня чрезвычайно обрадовало и пришло тогда, когда мне очень не хватало человеческого участия. Я только что вернулась из Бад Хомбурга и после этой поездки была в таком ужасном состоянии, что мне пришлось несколько дней просидеть дома, прежде чем я пришла в себя настолько, чтобы выйти в мир. Когда Лотта Ньюманн пригласила меня на вечеринку, я со-

гласилась почти с удовольствием, хотя она всегда казалась мне довольно утомительной собеседницей. Но я не предполагала, что должна буду сама за себя платить. Все это вылилось в повседневное унижение. Мне пришлось пообещать, что я вышлю чек, как только вернусь в Бонн, и мне удалось сдержать слово, хотя теперь я вообще не представляю, что меня ждет в будущем. Всю мою жизнь этот вопрос меня преследовал, и именно от этого моя мать пыталась меня защитить. Теперь, когда ее больше нет и мне нужно самой о себе заботиться, я вижу, что мне недостает житейской мудрости и практической помощи, на которую я привыкла полагаться. День за днем я вынуждена сталкиваться с разного рода затруднениями и могу только сожалеть, что не была подготовлена к тяжелым временам. Странно, ведь тяжелые времена стали для меня привычным уделом, как только мы покинули Берлин, а тем более после отъезда из Ниона.

Я полагалась на мамин опыт, и какое-то время этого было достаточно. Когда мы уезжали из Берлина, у нас с собой было ровно столько денег, чтобы выжить, но когда отца убили, они закончились совсем. Это мать поощряла Меллерио, который обыкновенно устраивал в „Бо Риваж“

деловые обеды или угощал своих партнеров шампанским. Мне больно говорить это, но мне не нравилось, как мать старается представить меня в выгодном свете, почти предлагает. Мне никогда не нужен был спонсор, чтобы привлечь мужчин, и взгляды, которые я ловила на себе в отеле, меня оскорбляли. К счастью, Меллерио, который был на двадцать лет меня старше, был галантным мужчиной и джентльменом: я полагаю, что он искренне хотел положить конец моим затруднениям. И конечно, я была очень хороша собой. К тому же он был очень внимателен к моей матери, за что я была ему благодарна. Я не могла винить ее за эти маневры. Она думала, что обеспечивает мое будущее. Я думала, что обеспечиваю ее.

Меллерио оставил нам денег — их хватило на несколько лет весьма приятной жизни в „Бо Риваж“, но когда мать заболела, их стало уже недостаточно. Я уже была не молода, вот в чем трагедия. Я считала, что моя красота будет при мне всю жизнь, и, наверное, этой иллюзией тешат себя все женщины, пока однажды не посмотрят в зеркало и не увидят, что поблекли, словно первоначальную яркость красок заслонила пелена, и сколько ни добавляй цвета, это дела не меняет. Ваш приезд в Нион произошел как раз перед тем,

как я сделала такое открытие. Я, видите ли, была еще в себе уверена настолько, что ждала лучшего предложения. Вас это шокирует? Меня саму это шокирует, хотя в то время я думала только о практической стороне дела. О ваших обстоятельствах мне мало что было известно; в письмах вашей матери была фальшивая уверенность в завтрашнем дне, которая нас нисколько не убеждала. Мы вас помнили как людей тяжелых, которые не блистали в компании. То есть в нашей компании. И о разногласиях между нашими матерями забыть было трудно. Я помню с детства эти ссоры, которые заканчивались громкими слезами. По этой причине я была несколько предубеждена против вас, несмотря на вашу шикарную внешность. Жизнь в „Бо Риваж“ была сносной, даже отрадной. Я знала, что рано или поздно что-нибудь или кто-нибудь появится. И поэтому я вас отослала. Я сожалею об этом с тех самых пор.

Мой второй брак был устроен тем же самым способом, что и первый, но на сей раз никаких смягчающих обстоятельств не было. Алоис Шнайдер был некрасивым мужчиной, и не таким богатым, как мы думали. Фактически, хотя он унаследовал от отца и деда типографию, он занимался какими-то спекуляциями и принял

несколько неразумных решений о будущем своей фирмы. Я вскоре разочаровалась в нем, но мне нужно было думать о матери. По крайней мере, я смогла о ней позаботиться, но за плату. Я просто ненавидела, когда мой муж ко мне прикасался, а он это делал при любой возможности. Я просто не могла ответить. Возможно, я никогда этого не умела. И все же мне всегда очень хотелось любви, романтической любви, той любви, которая делает женщину сильнее в невзгодах. Я уверена, что с другим мужчиной я бы имела мужество смириться со своим нынешним положением. В детстве я завидовала подружкам, которые выходили замуж, хоть были далеко не так красивы, как я. Возможно, именно поэтому я никогда не любила общества женщин. Как единственная дочь любящего отца, я привыкла к тому, что мои желания всегда удовлетворяются. Ваше отношение ко мне было как раз таким, но не забывайте, что тогда у меня было из кого выбирать. Закончилось это плачевно, и ни один из моих мужей так и не сумел меня оживить. Что касается нас с вами, то мы должны были стать любовниками в Берлине, когда мы были молоды и прекрасны.

Вас удивляет, что я говорю такие вещи? Мне самой удивительно говорить правду, что я так

редко делаю теперь, когда мне необходимо поддерживать какую-то видимость благополучия. На самом деле я делала это всегда, сколько себя помню. Сейчас я слишком устала, чтобы продолжать так дальше. Тот эпизод в Бад Хомбурге убедил меня, что мне надо опасаться других женщин. Я по-прежнему навлекаю на себя вражду, особенно своей бывшей невестки и ее ужасной дочери. Вам, может быть, неизвестно, что все женщины от природы соперницы. Вы, наверное, никогда не сталкивались с женщинами, которые резко обрывают давнюю дружбу, когда между ними встает мужчина, не потому, что они предательницы, а из природного инстинкта. Возможно, я была не так уж хороша, как мне казалось, хотя мужчины считали меня красивой. Но такова моя участь: быть любимой лишь одним мужчиной, отцом, или, возможно, двумя — еще вами. Если бы вы были тогда более настойчивы, я, вероятно, уступила бы вам, но это я сейчас так говорю, находясь в таких плачевных обстоятельствах. Даже мысль о том, чтобы снова вас увидеть, одновременно соблазняет меня и пугает. И единственный путь, каким я могу вернуться в „Бо Риваж“, это вместе с мужчиной. Даже и тогда на меня будут поглядывать, потому что я до сих пор обладаю некоторой

элегантностью. А может быть, у меня все еще сохранились манеры и жесты той, кого когда-то считали красивой. Это тоже иногда встречается у женщин: какая-то естественная уверенность в себе, вызывающая зависть, даже возмущение. И однако, я никогда не эксплуатировала свою внешность. За меня это делала мама.

Юлиус, у меня совсем нет денег. Никакого судебного процесса не было, просто я консультировалась с адвокатом, и он объяснил мне, что, хотя теоретически Алоис передал свои активы мне, формальный документ, который скреплял это соглашение, недействителен, поскольку при его подписании не было свидетелей. Наверное, мой муж об этом знал, и, уж конечно, знала его сестра. Мы с Алоисом об этом больше не заговаривали, и я подозреваю, что между ним и его родней был сговор. Конечно, никаких доказательств у меня нет. Дочка этой Марго поняла, что в этом их преимущество. Но особенно они не разжились: после него осталось немного. Я, кажется, говорила, что Алоис был не слишком хорошим бизнесменом, а мужем тем более. Могу совершенно твердо заявить, что я была рада, когда он умер.

Видимо, мне суждено было остаться с одной

только мамой, а теперь и вовсе одной. Теперь меня удивляет жестокая практичность, с какой родители стремятся освободить себя от обязанностей, свалив их на другое лицо или лица. Я предполагаю, что вы, человек преданный по своей сути, были преданным сыном, выполняли обязанности за своего отца, который помнится мне фатально мягким, неспособным справиться с домашними проблемами. Помню, был еще ваш брат, которому мне не разрешалось докучать. Это уже был наказ вашей матушки. Считалось, что я буду отвлекать его от музыки, но на самом деле ваша мать ревновала ко всем, кто к нему приближался. Что с ним стало? Женился ли он? Почему-то мне кажется, что нет.

Что я хотела сказать: я была бы счастлива увидеться с вами снова в „Бо Риваж“, как вы предлагаете. Но из этого письма вы поймете, что я просто не в состоянии за себя заплатить. Можете себе представить, как мне унизительно писать эти слова. По крайней мере, я отдаю таким образом часть долга — вам, который когда-то любил меня и хотел на мне жениться, — сказав об этом прямо. Так что нас снова разделяют деньги. Вы не сказали мне, насколько вы преуспели в жизни; вообще вы ничего мне о себе не рассказали. Мо-

жет быть, вам будет приятно узнать, что я жалею теперь о том уважении, которое вы мне когда-то оказали своими искренними чувствами. Я бы с огромным удовольствием, с огромной радостью снова вас увидела. Но при том, как обстоят дела, вас не должно удивлять, что я отклоняю ваше приглашение. Я должна смириться с тем, что время любви миновало, но это очень горько. Мне остается только в завершение выразить вам свою запоздалую признательность, не только за комплимент, который вы мне делаете теперь своей просьбой о встрече, но также за комплимент, что вы мне сделали раньше, когда попросили меня быть вашей женой. Ни одна женщина не смогла бы забыть такой комплимент. Даже теперь я вам благодарна. Фанни».

Герца настолько выбило из колеи это письмо, что он был вынужден выйти на улицу, словно в очередной раз общество незнакомцев было единственной панацеей для его потревоженных чувств. Так, значит, ей все-таки было до него дело, и даже сейчас есть, раз она вспоминает его пыл как нечто дорогое, нечто такое, чего она никогда не теряла из виду. Вот он, отсутствующий элемент их отношений: ее отношение к нему. Герц действовал и размышлял как отвергнутый

любовник, который настолько уязвлен, что не принимает в расчет другого, и таким образом потерял всякое представление о настоящей картине. Он был готов бичевать ее, обвинять ее задним числом в своих разочарованиях, к которым она не имела никакого отношения, видел ее равнодушной красоткой, которую был не в состоянии заинтересовать, а ведь она давно уже перестала быть той девочкой, в которую он когда-то был страстно влюблен. Все, что осталось от ее блестящего будущего, это горечь женщины, отклонившей любовь, которой она так жаждала. Или это был не ее выбор, а ее матери? Было в этих двух сестрах, его матери и тетке, что-то извращенное; не было в них сочувствия ни друг к другу, ни к своим молодым и доверчивым отпрыскам. Возможно даже, что за этими железными узами, связавшими Фанни и ее мать, была ревность; ни одной, ни другой не позволялось нарушать это примитивное соглашение. Он даже видел это в действии, когда обедал с ними в «Бо Риваж»: улыбки любви, которых совсем не скрывали нахмуренные брови Фанни, некое кокетство, которое ей приходилось пускать в ход, когда она проявляла хоть сколько-нибудь милосердия к нему. Оставаться в пределах одобряемых

матерью параметров стало ее единственным занятием. Не будь у нее потребности в этом одобрении, она, возможно, нашла бы в себе смелость быть свободной. А так она воспринимала свободу как самую опасную из авантюр, чувствовала, что, не испытав этой свободы, она никогда не станет полностью взрослой, и, как показало ее письмо, страдала от этого предчувствия, но сносила последствия своего выбора, потому что потеря единственной любви, какую она знала, была бы чересчур трагична.

И она думала о нем, даже когда он видел в ней только равнодушие. Она хранила воспоминания не только о самой себе, но и о других членах семьи, проявляла проницательность, подозревала, что между его родителями все не так гладко, что его мать ревнует Фредди ко всем потенциальным влияниям. Даже он перенял эту семейную черту — негодовать — и укорял Фанни в высокомерии, в самодовольстве, что на поверку оказалось лишь необходимой маскировкой обычной ранимости. Ему вдруг стало ужасно жаль ее, хотя до того, как он прочитал письмо, он собирался ей не верить, был настроен скептически и даже недобро, боясь перспективы снова ее увидеть или, не видя, выслушать. Но фактически ее жалоба была обычной

для всего человечества: любовь, одиночество, сожаления. Она показала себя, пусть даже немного, просто женщиной, той, о которой больше никто не заботится, которую фактически оставили одну платить за ту уверенность, что когда-то ее окружала и так обижала других женщин. Она несла наказание, или ей так казалось, за то, что она имела в юности, за дразнящую толпу поклонников, которую она когда-то привлекла, за стабильность, в которой она существовала, пока изгнание не положило всему этому конец. При всем том, что прагматизм был жизненной необходимостью, Фанни чувствовала, что ее принесли в жертву. Возможно, она открыла еще более мрачную правду, а именно, что, если бы все было хорошо и они остались бы в Германии, ею все равно пожертвовали бы те, кто утверждали, что знает ее лучше, и, более того, были убеждены в своей благонамеренности.

Если заглянуть еще дальше, то придется проникнуть в неизвестный мир тех двух сестер, жизнь которых, как он теперь видел, нисколько не изменили мужчины, которых они себе выбрали или которых выбрали за них. Недоверие к естественным желаниям укоренилось в них с самого раннего возраста, их тяга к удоволь-

ствиям всегда расценивалась как нарушение семейных правил. Поэтому они питали такое же недоверие к своим детям, жизнь которых, как стало понятно уже слишком поздно, могла бы открыть перед ними более широкие горизонты. Эти матери считали сужение этих горизонтов единственно верным руководящим принципом. Его тетушка Анна была виновата не меньше, чем его родная мать, поскольку считала Фанни своей собственностью, своим творением. При всем гостеприимстве, царившем в ее солнечном салоне, она была цербером. Герц всегда знал это и много раз бывал отвергнут не за какую-то свою вину, но лишь за то, что представлял собой, или это так казалось Анне, воплощение импульса, инстинкта, от которых Фанни нужно было оберегать. Она сберегла свою дочь в годы зыбкого существования в изгнании, но в значительной степени ради собственной выгоды. Мужья, которых она для нее находила, были выбраны за свою сговорчивость, за то, что их можно было убедить принять ее в качестве необходимого сопровождения. Возможно, она говорила, что Фанни такая тонкая, хрупкая натура, что ей нужна материнская забота. Этот миф, несомненно, гарантировал ей их совместное будущее. Герц с жалостью понимал,

что Фанни была лишена возможности следовать своим желаниям, и, хуже того, наверняка даже знала об этом.

Он пошел в городской сад, сел на свою обычную скамью, жалея, что не захватил с собой письма. Но все же те новости, что были в нем, были слишком волнующими для того, чтобы их случайно перечитывать. Здесь было подходящее место для того, чтобы от души пожалеть Фанни, ибо теперь он видел, какую несчастную жизнь она прожила. Помимо этого, но на самом деле неразделимо с этим, было сознание того, что она о нем думала, сожалела, — фактор, который он совершенно выпускал из виду. Она даже питала к нему чувства, какие женщина должна питать к мужчине: иначе почему она сказала, что они должны были стать любовниками, когда были еще почти детьми? «Когда мы были молоды и прекрасны», — так это было сказано, до странности близко к его собственным одобрительным раздумьям о молодых влюбленных. Эта фраза действительно установила между ними какое-то родство; попросту они знали друг друга всю жизнь. Признавшись в том, что сожалеет об упущенном ими шансе, Фанни стала ему ближе. Он был введен в заблуждение масками, которые обязаны носить взрослые, а

надо было обратиться к этой девочке и своим собственным желаниям.

Он стряхнул с себя оцепенение, тяжело поднялся и направился к дому, который теперь был таким же вымышленным, такой же фантасмагорией, как «Бо Риваж». В этом смысле они были взаимозаменяемы, поскольку явились ему в его первоначальных, почти забытых грезах о бегстве. Он знал, что осужден уехать, и не по каким-то практическим или непрактическим причинам, как бы они ни были важны, но потому, что есть миссия, которую он должен выполнить, есть исследование, которое ему необходимо завершить, есть возможность ответить на потребность, которая поразила его тем, что принадлежит к сфере его компетенции. Их воссоединение могло привести, и почти наверняка приведет, к разочарованию, но могло и просветить их. Он, однако, не мог до конца избавиться от беспокойства в отношении мотивов Фанни. Она сейчас нуждалась, она оказалась без поддержки. Безусловно, ее письмо показало такие аспекты ее характера, с которыми он был незнаком, но все равно его не оставляли сомнения. Грубо говоря, он подозревал, что она просит его о помощи. Она всегда мастерски морочила ему голову. Ее письмо могло быть

лицемерным; у него не было средств оценить степень ее искренности. Он пожал плечами. Возможно, это не имеет значения. В любом случае то, что такая честность не в ее характере, — это факт.

Между тем письмо требовало ответа.

«Моя дорогая Фанни, — написал он. — Ваше письмо пришло нынче утром, и я с тех пор над ним размышлял. Я не осмеливаюсь перечитывать его, чтобы невзначай не попасть под его влияние. Я говорю как есть. Я согласен, что нам нужно увидеться, хотя бы ради того, чтобы увидеть, чем мы стали, но такая встреча почти наверняка может обернуться для нас разочарованием. Теперь, когда я наконец могу трезво смотреть на наши семейные обстоятельства, я вижу, насколько мы были беспомощны, в нашей детской невинности, бороться против того, что было за нас установлено. Мы были имуществом, ни больше ни меньше. На мне были судьбы моих родителей и брата, а вам было предназначено обеспечить ваше собственное выживание и выживание вашей матери. То, что мы должным образом выполняли свои обязанности, нисколько не сделало эти обязанности легче. Я понимаю теперь, что нам не давали свободно расти, что мы были залож-

никами ожиданий наших родителей. Я не виню вас за то, что вы служили корыстным целям своей матери; но в то же время мне жаль ее. Мне жаль и свою мать. Мне жаль отца, который был просто безвольным. Я помню мучительно, как будто это было вчера, как вы были красивы, как самоуверенны. Во многих отношениях мне даже легче вспоминать, как вы со смехом отклоняете мои незрелые посягательства, чем представлять, как вы зависите от чужой милости, как теперь. Я сам пережил слишком много крушений, чтобы испытывать к вам жалость. Я просто узнаю в вас такую же жертву.

Я, конечно, помогу вам, чем смогу. То, что мы с вами вообще оказались в таком положении, просто смешно, но я давно пришел к выводу, что те, кто в ответе за наше развитие, наслаждаются нашим замешательством. Есть одно высказывание, которое всегда мне очень нравилось: если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Но как бы я ни соглашался с этой мудростью, я все же чувствую, что обязан взять часть вины на себя, как и вы. Мы, которые должны были быть скептиками, как показало время, были наивны. Ваше письмо показывает, что вы, по крайней мере, понимали чуть больше, чем я.

Я пытался довольствоваться малым, думая, что сдерживать свою природу — к лучшему и что я обязан принимать рациональные решения. Одним из таких рациональных решений была моя женитьба, но в последнее время я стал менее рационален в своих отношениях с миром. Я теперь вижу, что все мои привязанности были так или иначе несовершенны, но, как вы мне напомнили, я действительно некогда шел на поводу у своей молодости. Теперь я вижу ужасные ошибки, но не молодости, которые простительны, а зрелости, когда порыв улучшить то, что плохо, вынуждает тебя приспосабливаться, идти на компромисс, обходиться меньшим, когда очень хочется большего. Люди, которых я вижу вокруг, когда занимаюсь повседневными делами, меня поражают. Как вы справляетесь? — хочется их спросить. Вы всем довольны или вы, как и я, желаете освободиться от своей истории? Я однажды — совсем недавно — пережил болезненную иллюзию, что могу освободиться, и эта иллюзия была связана с ранними воспоминаниями или, скорее, с ранними ощущениями. Интересно, было ли это когда-нибудь чем-то большим, чем ощущение, но все же я знаю, что ощущение иногда лучший советчик, чем почтение.

Я чувствую, что обязан вам это сказать, поскольку вы выражаете мало любопытства в отношении меня самого. Возможно, вы думаете, что я давно у вас в руках, как тот, кого можно позвать на помощь, если вдруг ваше обычное поведение окажется неудовлетворительным. Не было причины демонстрировать свою готовность женщине, которая имела широкий выбор. Мне больно, что ваш выбор оказался настолько катастрофическим. Таким образом, я снова вынужден возвращаться мыслями к вашей матери и выбору, который она сделала за вас. Даже понимая, что ей не чужда была некая примитивная мудрость, я думаю о ней с неприязнью. И я сам поражаюсь, но каким-то образом часть этой неприязни направлена и на вас тоже. В вашем письме есть самый простой намек на приспособленчество, и хотя я далеко не циник (еще один прискорбный недостаток моего характера), некоторая осторожность росла во мне в течение сегодняшнего дня. А это был такой прекрасный день, солнечный и мягкий, день, созданный для невинных удовольствий, вроде тех, какими мы с вами так и не насладились. Я виню теперь в этом наших неважных родителей, но это же самое делают все дети, независимо от возраста. Я не могу

совершенно оправдать нас с вами. Я, видите ли, с подозрением отношусь к легким ответам. Что меня настораживает, так это то, что вы, как мне кажется, не отдаете себе отчета в своих ошибках. Вы выражаете горечь, которую я могу понять: вы заявляете, что ненавидели своего второго мужа, близость с которым вас замарала. Более мирская женщина повернула бы дело к собственной выгоде и завела бы любовника. Если бы это было так, я бы вас только поздравил. Но вы, кажется, демонстрируете тревожащую меня пассивность, и мне трудно совместить эту пассивность с вашим прежним самодовольством. Я бы с удовольствием обсудил с вами этот вопрос, но должен признать, что такая перспектива меня угнетает. Каким-то странным образом я, кажется, превратил вас в дело своей жизни. И я вижу, что это дело еще не закончено.

Вы почти полюбили меня однажды, но заглушили в себе чувство. Вы были тщеславны, и имели на то все основания, но тщеславие — штука рискованная. Я признаю, что вы готовы любить меня теперь. Этого должно быть достаточно в моем возрасте и, конечно, в вашем. Если я нахожу в себе достаточно смелости, чтобы выразить неудовлетворенность таким результатом, то вы

не должны думать, что эта неудовлетворенность целиком относится к вам. Я сейчас сожалею об упущенной возможности и в каком-то смысле о неполученном опыте, который позволял мне так долго жить надеждой. Из вашего письма следует, что вы из нас двоих более искушенная. Каковы бы ни были ваши мотивы — а я должен галантно предполагать, что вам они не известны, — я не могу оставить без ответа тот факт, что вы меня столь любезно вспоминаете. Уезжая из Ниона, я чувствовал, что исчез с лица земли и никогда не появлюсь снова. Вы тогда еще были красивы, что бы вы сами ни говорили. Я знал, что упустил свой шанс. Я поражаюсь тому, что вы это давно знали. Мы никогда не были разными, просто руководствовались ложными соображениями.

Давайте же встретимся, но без иллюзий с обеих сторон. Скорее всего, нам не понравится то, что мы увидим, и мы можем быстро устать от обсуждения общих для нас вопросов. Наверное, мы просто обязаны ради самих себя сделать все необходимое для того, чтобы поддерживать фикцию родственных уз, но должен предупредить вас, что я теперь намного жестче. Если я снова приеду в Нион, то из низменного желания поприветствовать кого-то, кто знал меня молодым и

подающим надежды и кто не будет слишком сурово судить меня за то, кем я стал. Удовольствие это не продлится дольше приветствия, но это будет редкостное удовольствие. В такой перспективе есть свои опасности, а мы в том возрасте, когда от нас требуется много мужества. И тем не менее мы все еще жаждем любви. По крайней мере, нам обоим это небезынтересно. Всегда ваш, Юлиус».

Это письмо он тоже разорвал.

«Моя дорогая Фанни, — написал он. — Спасибо за скорый ответ. Давайте договоримся встретиться, например в начале следующего месяца. Я думаю, что вы будете счастливы вернуться в „Бо Риваж“. Я, конечно, предприму все необходимые меры; вам не нужно ни о чем беспокоиться. Я вам позвоню в ближайшие дни, чтобы окончательно согласовать наши планы. Не стоит даже говорить, как я жду встречи с вами. Всегда ваш, Юлиус».

На другом листе бумаги он написал;

«Дорогая Софи, если вы не слишком поздно вернетесь, не могли бы вы мне позвонить?» — и пошел подсунуть записку ей под дверь, пока не передумал.

Прежде чем запечатать конверт с письмом, он удостоверился, что посылает Фанни вежливую и взвешенную версию, а предыдущие слова бла-

гополучно лежат в мусорной корзине. Хотя он знал, что неучтивость по отношению к Фанни взбодрила бы его, он бы стыдился потом всю оставшуюся жизнь. Они с ней вышли из других времен, когда подходящую тропу необходимо было искать в дебрях невысказанного разочарования: они были связаны этим кодексом. И все же ему необходимо было повторить те же опрометчивые слова, когда они окажутся лицом к лицу. Это будет похоже на конференцию по мирному урегулированию, в конце которой они должны будут выпустить коммюнике. Результат не будет окончательным (в этом смысле аналогия с встречей на высшем уровне казалась уместной), но они совершат необходимое усилие. Он был даже готов к столкновению и к возможности в конце концов расшевелить ее до того, чтобы она признала их равенство. Он мог бы даже найти в ней ту аудиторию, которой периодически жаждал: да, именно так, ибо разве она не была тем единственным человеком, для которого не нужно было делать искусственную преамбулу к отвлеченному предмету, о котором можно выразить свои отвлеченные соображения? А сможет ли, будет ли она считать это нормальным и даже интересным? За всеми ее жалобами он разглядел

отчаянную скуку женщины, привыкшей к вниманию и теперь вынужденной жить без этого. Ни ему, ни ей не придется терять лицо, потому что у них возникнет необходимый стимул, так что в конечном счете их разговор может касаться уже других тем, других предметов кроме них самих. Вопросы, которые они намереваются обсудить при встрече, могут исчерпать себя намного раньше, чем они ожидают, поскольку их позиции были ясно изложены в их письмах: в ее письме, не подвергшемся цензуре, и его, таких выдержанных, письмах. В этой выдержке скоро не будет нужды. Как только они окажутся рядом и смогут общаться без помех, их розность будет забыта, а если не забыта, то неуместна. Годы, прожитые ими порознь, будут казаться лишь длинным отступлением от их бессмертных отношений, тех, к которым они оба снова питали интерес.

— Софи, — сказал он, когда позвонил телефон. — Скажите Мэтью, что он может занимать квартиру. Для начала на месяц. Потом я дам ему знать, соберусь ли я ее продавать. Я думаю, что пока это все, о чем нужно договориться. Вроде бы я решился. Даже странно. Я думал, это будет намного тяжелее.

18

Мэтью Хендерсон спросил разрешения перевезти свое имущество, и оно ему было дано. В гостиной Герца теперь располагался компьютер, видеомагнитофон, две большие колонки и несколько теннисных ракеток. После этого там осталось так мало места для того, чтобы Герц мог заниматься своими привычными делами, что он снова стал уходить из дома рано утром, стараясь избежать встречи с новым жильцом, который выбрал это время, чтобы поставить у его двери очередной аккуратный, но громоздкий предмет. Однажды, когда он вернулся, на площадке стоял чемодан, который Герц, вздохнув, втащил в спальню. Он не возражал открыто, но предпочитал не присутствовать во время таких актов присвоения. Вскоре после этого он знал, до него донесутся звуки из квартиры Софи, и считал, что с его стороны тактичнее будет появляться в квартире как можно реже. К тому времени, когда он возвращался, они уже уходили, и тогда он завтракал, а газету приберегал для городского сада. Такое поведение, типичное для жизни на

курорте или какого-то иного временного способа существования, подразумевало, что в его распоряжении был долгий день, большую часть которого он проводил на улице. Но погода стояла прекрасная, и ему доставляли некоторое удовольствие ранние прогулки, хотя он знал, что легче уходить из квартиры свободным человеком, чем возвращаться и видеть, что ее понемногу захватывают, и этот процесс тайно идет как раз в то самое время, как он меряет шагами знакомые улицы.

Зорким, но снисходительным взглядом он озирал пейзаж и видел его теперь мягким, нейтральным; он никак не комментировал свое одинокое гуляние, вбирал в себя все частности — мужчин, которые, пыхтя, совершают утреннюю пробежку, старых дам, что настороженно поглядывают на собак, справляющих нужду в канаве, — и сожалел лишь о том, что не может перехватить случайного прохожего и перекинуться парой слов. Он понимал, что в этом нет смысла, но зато это похоже на те замечания о погоде, которыми обмениваются в очереди, речи эти дышат доброжелательством, особенно в этот час. Решившись уехать, он, казалось, попал в более широкую систему координат, в которой компания незнакомых людей была как раз тем,

что надо, и приветствия самого неопределенного характера были одобряемым способом общения. Такая взаимная анонимность, при которой каждый словно бы соблюдал некий кодекс, определявший правильную дистанцию, устраняла необходимость объяснять свое или чье-либо присутствие и освобождала от истории, как сулит это сделать, но редко делает отпуск. Явный недостаток близости, ощутимый, но не угрожающий, вызвал какое-то своеобразное состояние, как будто личность растворялась в теплом воздухе и лишь чувства оставались, чтобы человек мог восхищаться, внимать, наслаждаться и короткое время функционировать как человек.

Позже это проходило, ибо не может зритель долго оставаться на сцене. Тогда Герц возвращался к себе домой, уже отяжелевший, как будто только что вновь вошел в земную атмосферу. Эта вторая часть упражнения была уже не такой приятной, поскольку начинался день и восстановить ту утреннюю беззаботность удавалось только большими усилиями. Если он возвращался не вовремя и сталкивался с Мэтью или Софи, а обычно с ними обоими, на лестнице, он дружественно поднимал руку, улыбался и шел дальше, чтобы ненароком не нарушить легкости,

с которой они входили в ритм нормального дня. От них зависело оживление всего дома, который, не будь их, возможно, погрузился бы в полную тишину. Они делали это с помощью знаков — открывали окно, перекликались, находясь в разных комнатах, включали радио на полную громкость и тут же, видимо чтобы не потревожить Герца, делали музыку потише. Казалось, они ощущали его присутствие, которое он стремился сделать как можно менее заметным. Он, в свою очередь, как никогда прежде, чувствовал, когда они дома, отслеживал их приходы и уходы и обязательно — их шаги на лестнице. Иногда он видел, как они идут на работу. В деловых костюмах, с профессиональной готовностью во всем облике, они поворачивались ко всему своей второй стороной, становились персонажами, которых держали наготове для внешнего мира и в любую секунду могли предъявить, как будто не было никакой паузы между той жизнью, когда они жили вместе, и той, когда они были отдельными существами. В такие минуты, наблюдая за тем, как они теряются вдали, он чувствовал легкую панику и одновременно с этим — приступ юности. Он дивился, сам изгнанник из реальной жизни, каково это — быть гражданином сразу

двух царств: любви и работы. Он знал, что такие размышления никчемны и лишь подчеркивают его бессилие создать контекст, в котором он мог бы эффективно и не бесцельно функционировать. Вся деятельность, которую он изображал, служила лишь тому, чтобы никто не почувствовал себя обязанным справиться о его здоровье или о том, собирается ли он в отпуск. Особенно успешно он уходил от общения с молодой парой, камерность которой он желал сохранить. Он надеялся, что в его формальной улыбке и поднятой руке они разглядят целые области деятельности, о которых им ничего не известно и в которые он так глубоко внедрился.

В длинном антракте между их уходом на работу и возвращением он мог о них думать почти объективно, отмечать изменения, которые успевал схватить внутренним взором в момент встречи и приветствия: потаенную улыбку Софи, вкрадчивую настороженность Мэтью. Из них двоих он казался менее просвещенным, принимал свое счастье как тот, для кого такая милость судьбы — дело обычное. Это можно было счесть тревожным признаком, но Герц убедился, что бдительности Софи хватит на двоих. Она его уцепила, возможно, с того первого взгляда, и они оба были за то,

чтобы прожить дальнейшее, подогнать его по размеру, уменьшить до приемлемых значений. Никто больше не проявлял той способности к экстремальному поведению, которая на секунду-другую заставила Герца задержать дыхание, прежде чем он покинул сцену. Вместо этого, перетаскивая с одного этажа на другой вещи, они весело переговаривались. То, что они добрались уже до его двери, вновь подтверждало их способность занимать и поглощать его сокращающееся жизненное пространство, но они не ведали, что чем-то угрожают его душевному покою, и на самом деле не были повинны в этом, поэтому чаще всего он покорно забирал что-нибудь вроде тяжелого зимнего пальто и двух пар ботинок и рассовывал по шкафам, где уже и так не было места. Они знали, что им больше не нужно спрашивать разрешения, что это безболезненное упражнение можно воспринимать лишь как передачу собственности, и эти уступки он им сам гарантировал. Поэтому никаких оснований беспокоиться на его счет у них не было, так как он быстро понял суть этой процедуры, и любые возражения с его стороны были бы дурным тоном. Он с уважением оценил размер ботинок Мэтью, зная, что потом, когда он выпустит этих

людей из поля зрения, на такие детали он не обратит внимания. У него было представление о том, что такое пустить к себе жить молодого человека; он полагал, что это будет одновременно и возбуждать, и раздражать его, и даже с облегчением возвращался в полужизнь, которую для себя выстроил и в которой стремился достичь совершенства. Только в привычной тишине он мог измерить пройденное расстояние. Его первоначальное письмо Фанни, то, которое он не отправил, освободило его от бремени обвинений, которое не было нужды нести. И поэтому он мог ее встретить как воскресший из мертвых, свободный от земной скверны, чистый духом. Можно ли вообще привыкнуть к такой бестелесности — это был другой вопрос. Ему хотелось теперь обнять мир во всей полноте, в радости и в горе, как в браке. И действительно, казалось, что они собираются вступить в своего рода брак — двое оставшихся в живых, переживших отчаяние, объединенных не столько ожиданиями будущего, сколько желанием понять прошлое.

У Фанни по телефону был неровный голос, как будто она боялась, что ее перебьют. Сам он был спокоен, но чувствовал, что ее состояние другое. Она даже отчасти восстановила свою обычную

колючесть, словно их давние отношения этого требовали. Герцу так даже лучше было, потому что он боялся слез, зная, что не умеет обращаться с плачущей женщиной. Если бы она плакала, он бы вообще пожалел о том, что все это затеял, потому что вне зависимости от того, каковы их отношения, все должно быть сделано с достоинством. На деле, чем больше раздражителей — поскольку он знал, что будут и жалобы и встречные жалобы, — тем больше потребуется сдержанности, чтобы они могли хотя бы отдохнуть, если не слиться в гармонии. Они договорились встретиться в Женеве, а оттуда в Нион их должен был доставить автомобиль, который Герц уже заказал. Он надеялся, что этот жест доставит Фанни удовольствие, ведь в ее нынешней жизни ей наверняка не хватает таких знаков внимания. Он просил ее не брать слишком много вещей; она сказала, что не надо быть таким глупым. Уж наверное, строго сказала она, вы ожидаете, что я буду одеваться соответственно? Там даже могут быть танцы. В этот момент он по ее голосу услышал, что тоска пробилась сквозь броню уверенности. Он чувствовал, что еще недостаточно знает ее, чтобы сказать ей, как он тронут этим признаком надежды, ее тоской не по нему, а по той жизни, какой она на-

слаждалась в девичестве. Он знал, что не должен показывать, насколько хорошо он ее понимает, и должен как можно серьезнее воспринимать все ее рассказы о недавних неудачах и верить ей, когда она обвиняла кого-то, если она предпочла такую версию правды. Если бы он знал ее лучше, его бы это расстроило, но на нынешней стадии их отношений некоторая доля раздражения спасла бы их от сентиментальности. Любая неуместная эмоция была бы неприятна обоим. Достаточно, если они будут знать, что по этому пункту они друг друга поняли и заключили рабочее соглашение относиться друг к другу с чуткостью, которая может еще превратиться в любовь.

— Каким вы теперь стали? — спросила она его.

— Старым, — сказал он.

Она засмеялась, но умудрилась оставить впечатление, что сама нисколько не изменилась. То, что ее голос стал заметно бодрее, убедило его в том же. Он рад был пойти на такую уступку. Возможно, за ней последуют и другие.

Им обоим льстило, что они приедут как супружеская пара и никто не узнает, как они встретятся. Он немного раздумывал над этим вопросом, но фактически все потенциальные проблемы решались легко. Его усилия увенча-

лись завидным успехом. В их распоряжении был номер в «Бо Риваж», выходящий окнами на озеро, и все мысли о физическом неудобстве исчезли. Оба они будут щадить свою скромность, как те, чьи тела уже давно не соблазнительны, и время от времени будут скрываться из поля зрения, когда действительность будет угрожать той видимости, которую они стремятся поддерживать. Билеты себе и ей он уже заказал. Похоже, до сих пор он проявлял себя с лучшей стороны. На самом деле все эти действия не требовали напряжения, поэтому в основном он о них не думал. Его больше интересовала та жизнь, которая вскоре уйдет в прошлое, и та, что вскоре перечеркнет любой след, который он мог оставить. Он считал, что это в порядке вещей, но ему было грустно, что он не увидит, как развивается история, которая началась столь многообещающим образом. Он знал, что в часы скуки его мысли будут возвращаться к этой яркой перспективе и что если когда-нибудь его одолеет тоска по дому, то это будет ностальгия не по квартире, а по звуку шагов на лестнице, открываемой и закрываемой двери, по шуму голосов, взрывам смеха. В своем мирном изгнании он будет гадать, как они там, словно они, а не Фанни — его семья. Он пошлет

им открытку, но больше никак не напомнит им ни о своем отсутствии, ни о былом присутствии. В свое время он вернется на денек, чтобы обсудить планы на будущее, и заранее предупредит их о своем посещении. Он еще не знал, какое решение примет, знал только, что его дальнейшее проживание на Чилтерн-стрит маловероятно или вовсе невозможно. Только серьезная болезнь или серьезное разочарование могли бы его заставить этого хотеть, а он не собирался подвергаться ни тому, ни другому. Ценой свободы была вечная бдительность, а уж в этом он подкован более чем достаточно.

Его занятия теперь носили характер прощальных, хотя никогда не были более сердечными. Он приветствовал каждый скромный ориентир: свет, проникающий в окно с улицы, бормотание телевизоров в магазине, тележку почтальона, универсам, сад. Все эти детали теперь соединились в портрет его жизни в этом доме, стали молчаливыми доказательствами его гражданства. Он ничего не говорил о своем отъезде, избегал бесед на эту тему, оставил для Мэтью записку со своим будущим адресом, по которому надо будет пересылать его почту. Тед Бишоп был предупрежден; они сердечно пожали друг другу руки. Но

поздно вечером уверенность обычно покидала Герца, сдавали нервы. Однако он это предвидел и приписывал усталости. Он завел привычку бродить допоздна, но все равно возвращаться приходилось. Улица была ему сейчас роднее, чем квартира, которая стала теперь совсем чуждой. Он, как мог, тихо принял ванну. Когда он ложился в постель, то заметил, что его радиоприемник потеснил другой, более крупной модели.

За день до отъезда он решил в последний раз посетить Национальную галерею. Он многого ожидал от этого прощального визита, но почему-то был невнимателен, даже нетерпелив, как будто искусство отказывало ему в причастности своим тайнам за то, что он подло занимается собственной персоной. И правда, он уже утратил способность невинно созерцать, но его тревожила утрата веры. Он ненадолго остановился перед многочисленными страстотерпцами, затем прошел в главное здание, где была более веселая компания иных божеств: Марс и Венера, Венера и Адонис, Вакх и Ариадна. Эта последняя картина, эта вспышка синевы, несла свое гибельное послание без участия физического старения. Ариадна, вскинувшая руку, словно для того, чтобы раздвинуть воздух и броситься впе-

ред, была остановлена взглядом Вакха, который, казалось, лишал ее сил и уверенности, а Вакх, чья нагая фигура легко затмевала ее закутанную, демонстрировал, что этот акт обладания даже не нуждается в более детальном изображении. Его спутники или помощники самим своим безразличием показывали, что это самый обычный случай, или, еще вероятнее, что они не причастны этой тайне. Герц вдруг почувствовал головокружение и был вынужден сесть на скамейку. Какое же удовольствие в свете этого необычайного единения он мог бы извлечь из собственных честных намерений, из соединения двух долгожителей с трезвой памятью и перечнем несбывшихся возможностей — даже не благородных поражений? Как они смогут разыграть свое радостное воссоединение без такой вспышки? Что такое разумная и даже приятная компания по сравнению с предписанием простого желания? Он снова взглянул на картину и опустил глаза, напомнив себе, что Ариадна ничего не выиграет от этого союза и что Вакх превратится в тучную развалину, и это его падение будет запечатлено другими, менее снисходительными живописцами. История окончилась плачевно, но это было неважно, даже несущественно. Можно считать, как он, что

размеренные товарищеские отношения почти наверняка переживут это красочное знакомство. Однако эти товарищеские отношения тоже могли повлечь за собой сожаление. Герц увидел, что перед картиной остановилась девочка, возможно, впервые признав в ней настоящую вещь и желая себе такого апофеоза. Просто дело в том, что его ничем не заменить. Это доказывало даже не его присутствие, а само его отсутствие и оставляло неизгладимый след. Даже увидеть его, услышать о нем из вторых рук было достаточно для того, чтобы испытать удивление. Или настоящее волнение.

Слабость не проходила. Герц сидел на месте, пока не услышал, что галерея закрывается. Он пошел к выходу, а за ним по следам медленно и осторожно шел смотритель. Его внезапно сильное недомогание было вызвано подозрением, что Фанни могла бы захотеть заняться с ним любовью, и он решил сразу, как доберется домой, позвонить в «Бо Риваж» и заказать себе отдельный одноместный номер. Он уже не был способен на любовь: очевидно, синие образы Вакха и Ариадны наконец сделали свое дело, убедили его, что ему это больше не подобает делать или, скорее, уже недоступно. Даже в своем

преклонном возрасте он не сумел правильно оценить действительность, и тогда действительность плоти вынуждена была напомнить ему правду. Из нежелания, привередливости и даже из скромности он день за днем отводил глаза от своего меняющегося облика, и если думал о себе, то как о том человеке, каким был когда-то, словно о некой отдаленной фигуре в отдаленном пейзаже, способной совершить любой физический акт, ответить на любой вызов плоти. Эта почти мистическая память о себе имела что-то общее с началом мира, верой в неприкосновенность, в бессмертие, которая упорно возвращалась, по мере того как дни клонятся к закату. Даже и тогда перспектива смерти не становится реальней, детали ее отчетливей. Но он знал, что настанет время, когда его передадут в другие руки, и тогда он утратит всякое представление о себе как об отдельном существе. Он станет частью вида и уже ни для кого не будет представлять интереса.

То, что теперь было ему доступно, это банальный суррогат домашней жизни. Даже и он будет малоубедителен, и все же Герц был намерен заставить его работать. Он надеялся, что почти абстрактной обстановки, почти знакомой женщины, чуткого внимания тех, кто должен

следить за более грубыми атрибутами повседневной жизни, будет достаточно для того, чтобы образовался определенный жизненный уклад, в котором физическая сторона не должна слишком навязчиво выпирать. Они будут встречаться, чтобы погулять, поесть, старательно замаскировав свою изменившуюся внешность. Со временем эта вновь выстроенная жизнь сможет их убедить в своей подлинности. Сейчас ему хотелось доброты, мягкости, понимания, взаимности того рода, какая может установиться между двумя старыми знакомыми, которые из тактичности воздержатся от неприятных намеков на прежние отношения, поскольку фактически этих отношений никогда не было. Хотя он воспринимал Фанни как утраченную возлюбленную, на самом деле этим возлюбленным был он. Его прежние надежды и ожидания в конечном счете ни во что не вылились. Фанни была для него воплощением тех ожиданий, которые оказались просто поразительно живучи. Он не считал себя таким уж романтичным, но ведь и в самом деле он долгое время был верен этим отнюдь не успешным отношениям. Волна памяти и чувства настигала его при каждом повороте: почему бы иначе он решился на этот эксперимент? Благоразумие

требовало, чтобы он воспринимал реальную Фанни, Фанни, с которой он должен был назавтра встретиться в Женеве, как незнакомку, как человека, к которому надо относиться с уважением, с учтивостью, но больше без страсти.

Ему не хотелось больше оживленных бесед, о которых он думал раньше. А хотелось ему улыбки, на которую он сам ответит улыбкой: это еще было возможно. Он позволит Фанни фантазировать сколько душе угодно, он будет тешить ее тщеславие, как только сможет, разрешит ей считать себя желанной, но только при условии, что в обмен она иногда будет снимать убогую маску светскости и одаривать его истинной нежностью, не за то, каким он когда-то был, не как скромного просителя, но за то, чем он был теперь, — человеком, которого мир пугает. Ради этой любящей улыбки он бы пересек любое расстояние. Он стремился теперь добраться до телефона, поговорить с нею и, если возможно, обнаружить в ее голосе след той слабости, которой он сам был теперь подвержен, когда стоял на тротуаре среди толпы, суеты, шума и пытался поймать такси, подняв тяжелую, словно налитую свинцом, руку. Громада города его угнетала. Ему вновь пригрезился Нион, каким он видел его

тридцать лет назад, и образ этот показался таким ласковым, таким убаюкивающим. Конечно, с тех пор там все изменилось, как изменился он сам, но по-прежнему будет вид на озеро, и мягкий свет, и горы вдалеке. Несомненно, там он оправится от утомительных недомоганий, которые мучили его последние несколько месяцев, а если понадобится, передаст себя в руки патриархального швейцарского доктора. И возможно, Фанни, вопреки своему характеру, будет о нем заботиться. Он догадывался, что такая перспектива ей в голову не приходила. Но и он, в свою очередь, мог бы, вопреки ожиданиям, стать вспыльчивым, настаивать на том, чтобы соблюдался его режим, вылепил бы из нее бдительного опекуна. Такая перспектива его тоже не устраивала. Но если бы они смогли так усовершенствовать свое поведение или свою актерскую игру, чтобы каждый приносил удовольствие другому, Герц счел бы это большим достижением.

Он принял во внимание ее грусть и признание в том, что она была несчастлива в прошлом. Мирские блага, которыми он был готов ее обеспечить, не смогут изменить ее взгляд на себя как на женщину, которая никогда не знала любви. Он мог попытаться восстановить ее гордость,

которой нужно было лишь дать опору. Ему придется полагаться на остатки ее самоуверенности. Возможно, хотя вряд ли, она за прошедшие годы нажила немного мудрости, чтобы не судить его строго. Он жаждал теперь такой снисходительности, как когда-то жаждал любви. В тряском такси он положил под язык таблетку и подождал, пока в голове не прояснится. Ему нужно было все упаковать, позвонить Бернарду Саймондсу, пообщаться с Софи и Мэтью и пожелать им всего хорошего. Все это, однако, было на втором месте после жгучего желания дозвониться Фанни, узнать, как у нее настроение, удостовериться, что она тоже переживает.

На Чилтерн-стрит он попал в настоящий водоворот из багажа Мэтью, и его собственный скромный чемодан сразу стал просто маленьким дополнением к вещам нового и законного владельца. Было ясно, что это место больше Герцу не принадлежит. Но он об этом не жалел. Когда-то квартира символизировала освобождение от Эджвер-роуд, от обязательств перед родителями, от брака и развода, но это освобождение все же не стало полным. Квартира была убежищем, и ничем больше, и с этой ролью справлялась хорошо. Теперь она казалась чужой, уже заполненной

иной жизнью. Наткнувшись на спортивную сумку Мэтью, он разозлился и обрадовался новому чувству. Это был признак того, что он сможет вызвать в себе вспыльчивость и в более благоприятных обстоятельствах. Это было зарождением новой личности.

Он набрал номер в Бонне и, слушая гудки, укрепился в своей решимости.

— Фанни? — сказал он. — Как дела?

На другом конце раздался смех:

— Право, не знаю, Юлиус. Сказать по правде, я очень волнуюсь.

— Я тоже. Но это так понятно. Мы ведь так давно не уезжали из дома.

— Мне противно думать о том, насколько я изменилась.

— Но, дорогая, мы оба изменились: это неизбежно. И тем не менее я уверен, что сразу же вас узнаю. Что вы решили с квартирой?

— В ней поживет подруга. Определенное время, разумеется, хотя она уже пару раз намекала на то, что нам надо объединиться. Но мне не по душе идея жить с другой женщиной. По-моему, уж лучше быть одной, хотя мне было очень одиноко. — Голос ее прервался, словно она отвернулась от трубки. Когда она вернулась к разговору, Герцу

показалось, что она с большим трудом восстановила самообладание.

— Я тоже был одинок, — мягко сказал он. — Теперь, когда появилась перспектива оказаться в компании, я это понимаю. Для нас обоих это большой переворот, Фанни, но мы же останемся свободными людьми. Не нужно паниковать.

— Я и вправду напугана, — сказала она. — Но, как вы говорите, мы оба свободные люди. Я просто подумала, какой это прекрасный жест с вашей стороны. И как хорошо будет после такой долгой изоляции с кем-то поговорить.

— Вы об этом скоро забудете. Вокруг вас будут люди. — Вокруг нас, поправился он про себя. — И будет чем заняться, — добавил он неуверенно. Он недоумевал, куда подевалась ее недавно обретенная заново властность. Ему хотелось, чтобы она была поживее, больше командовала, больше была собой прежней. — Кто-нибудь проследит, чтобы вы вовремя попали в аэропорт? Вы всегда были ужасной копушей.

Она засмеялась:

— Боюсь, вы меня чересчур хорошо помните. Да, меня проводит подруга, о которой я говорила. А вас?

— О, не волнуйтесь за меня.

Наступила пауза. Они оба не знали, как закончить этот разговор, в котором так много осталось недосказанным. *«Не волнуйтесь за меня?* — повторил он про себя. — Но ведь как раз этого я и хочу. Я хочу, чтобы на этот раз меня приветствовали улыбкой любви и чтобы в ответ я не смог сдержать улыбки».

Вместо этого он сказал:

— Что же, значит, увидимся завтра. — И давайте попробуем быть счастливыми, Фанни. Это последнее замечание он сумел оставить при себе. — Спокойной ночи, дорогая. До завтра.

За удовольствие узнать, что будет завтра, он был согласен заплатить большую цену. Оживившись, Герц приступил к своим делам, написал записки Бернарду и Софи. Ни с тем, ни с другой ему говорить не хотелось, и общение он зарезервировал для одной Фанни. Он не спал, как этого и следовало ожидать, но это его не расстроило. Время от времени ему становилось труднее дышать, но теперь это было настолько знакомое ощущение, что он принял его как сносное недомогание, на которое не нужно обращать внимания. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы добраться до Женевы. Потом будет еще время позаботиться о себе, пройти осмотр, принять меры.

Он в последний раз осмотрел квартиру и почувствовал легкую грусть, но не ту грусть, какую ожидал. В такси он поздравил себя с тем, что так осторожно обставил свой отъезд. Началась одышка, но ему оставалось совершить только одно усилие, а о дальнейшем уже позаботились. В аэропорту он приветливо улыбался другим пассажирам, слишком занятым своими заботами, чтобы отвечать ему тем же. Он взял свой чемодан, договорился с носильщиком. Потом он пил кофе за маленьким стеклянным столиком и внезапно стал безразличным к тому усилию, которое ему предстояло сделать.

Вдруг его пронзила боль, не похожая на все, что он испытывал раньше. Когда объявили его рейс, он встал и полез за таблетками. Рука его затряслась, и они разлетелись, покатились по грязному полу. Сдерживаясь, чтобы не закричать, он качнулся вперед, давя таблетки под ногами. А потом, все еще сжимая в руке пустую коробочку, с призраком улыбки на лице, он из последних сил рванулся вперед, вслед за другими пассажирами.